

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА

Тут мы работаем. Рассказы человека, не всегда абсолютно серьезного. Изд. "Детская литература", Л. 1966 и 1973

Кто развозит горожан. Не совсем серьезные рассказы, из которых, однако, можно узнать кое-что полезное. Изд. "Детская литература", Л. 1969

Блондин обеего цвета. Взаимная повесть. Изд. "Ардис" (США), 1975

Ich, mit einer Ohrfeige in der Hand. Erzählungen. Verlag Ullstein, Berlin, 1977

Обложка Алексея Хвостенко
На 1 стр. обложки офорт художника О.Целкова
"Портрет двоих", 1976
Фото Э.Когана (4 стр. обложки)

Редактор А.Глезер

© 1978 Verlag Ullstein GmbH
Berlin.Frankfurt/M.Wien

Рассказ "Письмо со службы":
© 1978 изд. "Третья волна"

Я, С ПОЩЕЧИНОЙ В РУКАХ

Р А С С К А З

Я собрался закурить, вынул папиросу, зажег ее, но курить не стал, а заторопился и побежал вон из цеха, в новое здание, в склад готовых изделий. Со мной так бывает.

Папиросу я забыл в своей руке, а ее, то есть руку, оставил болтаться, как ей захотелось. Повторяю, так со мною бывает.

Эта забытая, оставленная рука и наделала мне много беды.

Сразу же около здания цеха я встретил знакомого монтера Белоглазова.

Когда издали приближаешься по прямой, надвигаешься друг на друга в упор, несколько раз опуская и опять уставляя на другого глаза, то уже и неизвестно, в который момент поздороваться, и всегда будет или слишком рано, или поздно.

Неожиданно он передо мной остановился.

- Здор-р-рово! - сказал я и хотел пробежать.

Вдруг я заметил, что он мне не отвечает, только пальцем указывает куда-то вверх, за моей спиной, прямо вверх.

- Куда, куда? - спросил я почему-то, в самом деле ничего не понимая.

- Не куда, а что, - сказал Белоглазов. - Читай.

Я оглянулся и увидел плакат. На плакате была нарисована огромная, словно труба, несминаемая макаронина папиросы. Из нутра

папиросы выходил сизый дым. Сделав два плавных, лекальных изгиба, дым улетал за пределы щита. Вся эта интересная картина была с удовольствием перечеркнута из конца в конец плаката аккуратной коричневой буквой X. "Здесь курить воспрещается", - было написано среди этой буквы.

Я знал этот плакат, я хорошо его помнил. Иногда он даже немного мне снился.

- Читай, читай! - сказал Белоглазов.

- Да я знаю, я читал, - сказал я, переступая на месте, потому что в голове я уже побежал по делам.

- Чего же ты куришь? - спросил Белоглазов с презрением. От этого презрения я слегка забеспокоился. Если человек позволяет себе выражать так открыто презрение, значит, он знает позади себя силу.

Мне бы сразу же тогда сообразить, но я торопился. Если бы я тогда сообразил, то рука что-то сделала бы с той папиросой. На руке был широкий рукав пиджака. На руке были ловкие пальцы для этого дела. Но я забыл про нее, то есть руку, и она ничего с папиросой не сделала.

- Я не курю, - сказал я только, потому что я еще не курил и хорошо это помнил.

- Куришь!

- Нет, не курю, - отвечал я с досадой.

- Ты еще недоволен? - сказал Белоглазов. - Куришь на территории и еще недоволен.

- Я доволен, - сказал я.

- Чем ты доволен?

- Ну всем... всем доволен.

- Ты, что, издеваешься надо мной? - сказал Белоглазов. Он оглянулся, увидал, что людей рядом нет, и сказал мне одно очень обидное слово, которого я ни за что не повторю.

- А этого, - сказал Белоглазов радостно, - я тебе не оставлю так, сука!

Он указал на мою папиросу и, повеселевший, отправился дальше.

Я очень обиделся на Белоглазова, но смолчал. Всё же я находился на заводе, где не должен вступать ни в какие личные счеты. Вскоре я убедил себя забыть эту обиду, нанесенную мне грубым человеком Белоглазовым, с которым я решил теперь не здороваться, если придется.

Назавтра мне вынесли выговор по заводу. Белоглазов, оказывается, был членом комиссии какой-то местной власти, которая

имеет полное право всюду ходить и раздавать замечания. А все должны эти замечания слушать, ни за что не возражая ни словом. Это был очень опасный для меня человек, который расхаживал с видом монтера. Нельзя забывать свою руку перед таким человеком.

Скоро кончился месяц, и меня лишили ежемесячной премии, потому что я имею выговор по заводу. Мне было жалко ее, такая это была симпатичная, круглая, заработанная премия, - но я промолчал.

В конце квартала завод получил среди других заводов первое место. Многим, кто хорошо в это время работал, давали маленькие премии за соревнование. Дали эту премию и мне. Она была тоже приятная премия, хотя и небольшая. Но в последний момент ее где-то у меня всё же вычеркнули, там, где могут вычеркивать то, что хотят.

Конечно, это было обидно, но я опять промолчал.

- Не надо, не надо, - сказал я себе. - Пусть все будет спокойно. Надо честно работать дальше и снова дальше. Пусть они увидят, пусть почувствуют, как они неправы!

И я работал, чтоб они это увидели, чтобы почувствовали. Кто "они", я себе не разъяснял.

И они увидели, они всё увидели.

Мне поручили сделать одну очень важную выставку. Я сделал эту важную выставку. Всем, кто участвовал в ее оформлении, выдали благодарность за такую спешную работу, за фантазию. И мне тоже дали благодарность за фантазию. Но где-то там, наверху, кто-то вычеркнул мне благодарность, и мою фантазию никто не благодарил.

Я очень обиделся и побежал куда-то туда, наверх, где вычеркивают мне премию, где меня не благодарят за фантазию.

- Я скажу, я все им скажу! - говорил я себе, хотя и не знал, кому я скажу и куда я иду.

Но на полдороге к ним, туда, я остановился как вкопанный. Я не знал, куда шел, но почувствовал ровно полдороги и вернулся.

"Они не понимают, что они делают, - думал я. - Ничего. Пусть, пусть не понимают. Им же хуже, если они не понимают. Пусть им будет хуже."

Но им, очевидно, всё не было хуже. Хуже было мне одному.

Меня давно хотели перевести на другую работу. Эта работа была интересней и с большей зарплатой. И вот наконец перевели. Я был рад.

Но где-то там, наверху, кто-то вдруг остановил мой перевод и как будто стал держать его двумя руками. Сначала я не знал, что его кто-то держит. Я думал, перевод идет и идет себе, как ему надо. Это все не очень просто, они обычно, переводы, идут весьма долго.

И вдруг я понял, что он не идет, а что его уже держат. Как я это понял, я сказать не могу, но я понял.

И только это меня осенило, как мой друг Миша Дворкин, который очень про это все понимает, вдруг говорит мне при встрече, в тот же день:

- А он не идет. Ты чувствуешь? Его остановили.

- Откуда ты знаешь? - спросил я, волнуясь.

- Я не знаю, я чувствую, - ответил мне Миша.

Да, я тоже - и я это чувствовал. Со мной так бывает.

- Это всё потому, - сказал Миша.

- Почему? - спросил я сразу, думая о том же, что и он.

- Потому, - сказал Миша и кивнул назад, за себя, то есть в прошлое - в мое недавнее прошлое.

И тут я не выдержал. Я вскочил и побежал туда, куда однажды добежал до полдороги. Во мне появилась горькая, невыносимая обида, от которой раздувается горло, как зоб, от которой вспыхивают яростные, плоские взрывы за глазами.

Я бежал, приседая на каждом шагу, спотыкался, как вдруг, среди этого задыхающегося бега, я заметил, что у меня на ладони появилась свежая, горячая, как блин, только что рожденная пощечина, пощечина без хозяина, пощечина никому, а вернее, кому-то - кого еще следует непременно найти.

- Разом, разом!.. - подумал я резко. - Если они ничего не понимают, ничего не желают понимать, надо разом дать за обиду пощечину, как это делали в далекой истории, - а потом наплевать, а потом будь что будет!

Я сунул пощечину вместе с рукой в карман и так, не вынимая их из кармана, пошел искать того самого человека, от которого произошла моя сегодняшняя полная обида.

Прежде всего я пришел к своему начальнику. Посщечина прыгала у меня по карману.

- Да, - сказал начальник о моем переходе. - Он идет, но идет что-то тихо. Узнавайте. Этим занимаются кадры, а я, с моей стороны, сделал все, что я мог.

Начальник был усталый и приветливый человек. Он действительно сделал для меня все, что мог.

Я пошел со своей пощечиной в кадры. Она пощелкивала у меня об ладонь, видно пробуя себя перед делом.

- Что это у вас там трещит? - сказал мне начальник над кадрами, легко барабаня пальцами по лысому лбу.

- Так, - сказал я, сжимая пощечину. - Так, одна деталь. Почему не идет моя переводка?

- Верно, - ответил начальник, умно и доброжелательно поглядев на меня. - Не идет. Приостановилась.

- Почему? - спросил я, сдерживаясь.

- Посудите сами, - сказал начальник. - У вас бывают срывы. Выговор был у вас? Был. Недавно благодарности лишили. Уж даже благодарности! Нет, не могу. Я должен за этим специально следить. У меня такая работа.

- Но кто же, кто лишил благодарности? - спросил я, враз понимая, что он действительно здесь ни при чем, а главные те, предыдущие люди, которые именно виноваты во всем.

- Я не должен этого говорить, - сказал начальник. - Но я давно вас знаю и скажу. Только это между нами. Хорошо?

Как я мог обижаться на этого разумного и прямого человека? Он ничуть не похож на обычного, сатирического начальника отдела кадров, над которым мы вволю смеемся, как принято, а втайне боимся.

- Конечно, между нами! - вскричал я поспешно, чтобы он почувствовал, как мне можно доверять. - Я нигде, никогда не скажу, что узнал через вас!

- Это Шаганов. Вот все, что я могу вам сказать.

Шаганов был заместителем главного инженера. Наконец-то я понял, кому мне следует отдать мою пощечину! Это будет хорошее, справедливое ее помещение.

С трудом я сегодня же добрался к Шаганову и спросил его прямо о себе, спросил в упор.

- Ну я, - сказал Шаганов слегка недовольный. - Я был против. А что? Разве вы работали за благодарность?

- Нет, - сказал я быстро. - То есть...

- Я могу и объяснить, - сказал Шаганов спокойно, - хотя и не обязан этого делать. Совсем недавно вас лишили премии за соревнование, а теперь мы вдруг станем объявлять благодарность. Что мне скажет завком? Что я с ним не считаюсь? И правильно скажет. Или вы не согласны?

- Я согласен, - сказал я. - Спасибо!

Я помчался в завком.

- Вы за что меня лишили премии? - крикнул я с обидой, войдя на порог.

Все в завкоме засмеялись.

- Ты чего это, Коля? - сказал мой друг Миша Дворкин, который в завкоме занимался соревнованием.

Я остановился. Я совсем забыл, что этим занимается он.

Мы походили коридорамн, и Миша мне все объяснил.

- Тебя как раз лишили прогрессивки, значит, и нам тебя нельзя награждать. Я понимаю, что тебе неприятно. Но ведь премия ерундовая, я подумал, что ты без нее не умрешь.

- Неужели ничего нельзя было сделать? - спросил я, расстроенный.

- Может, и можно, но только не мне. Все же понимают, что я тебе друг, - сказал грустно Миша, добрый, носатый, всё понимающий, мой действительный друг Миша Дворкин.

- А кто же снимает прогрессивку? - спросил я у Миши.

- Отдел труда. Погодн!..

Я бегом спустился к отделу труда и вошел в него, распахнув обе двери. Пощечина снова запрыгала у меня под рукой.

Все женщины обернулись на открытую дверь и слегка подались друг от друга, перестав улыбаться.

- Дверь закрывайте, - сказала Нина Карловна простуженным голосом.

- К кому мне тут? - спросил я грубо. - Мне прогрессивку в прошлом месяце сняли.

- Ну, ко мне, - сказала Нина Карловна. - Так у вас же был выговор, помнится?

Она достала толстую синюю папку, где были вклеены все текущие выговоры. Там был вклеен и мне.

- Вот, - сказала она. - От пятнадцатого марта.

- Ну и что же, что выговор? - сказал я, задыхаясь от обиды.

- А по положению при выговоре нельзя платить прогрессивку, - объяснила Нина Карловна, понятный, простуженный человек. - Я за этим как раз аккуратно слежу.

- Ну а выговор, выговор, кто выносил? - спросил я в отчаянии.

- А вы посмотрите, кто взироваз приказ, - посоветовала мне Нина Карловна и опять отвернулась к своему разговору.

Приказ визировали в пожарной охране.

- Наверно, курил, молодой человек? - сказали мне в пожарной команде. - У нас есть жалоба, вот, от Белоглазова.

- Да кто же он такой, этот Белоглазов? - закричал я. Со стороны на меня смотреть было, видимо, неприятно.

- Что вы кричите? - сказал пожарник. - Белоглазов член комиссии. Сами знаете.

- Да я не курил! Не курил я совсем!

- Но тут же написано, что ты курил на заводе.

- Он врет, Белоглазов, врет!

- А свидетели были?

- Нет, не было свидетелей.

- Тогда ты ничего не докажешь, ему веры больше. Он уполномочен, понимаешь? Что ж это будет, если мы мы ему начнем не доверять? - сказал рассудительно пожарный.

"И правда! - подумал я. - Должны же они больше верить своим, специальным, пожарным людям, чем мне."

Тогда я решил отдать мою пощечину Белоглазову. В конце концов, он причина всех моих бед. С него началась несправедливость ко мне.

- Да, - сказал я себе. - Я найду Белоглазова!

Пощечина снова зашевелилась на ладони.

Но вот я подумал: а что же он сделал? Это была небольшая несправедливость ко мне грубоватого человека, который по своей ежедневной работе не имеет возможности проявлять свою власть над другими людьми. Должен же он находить для себя эту дорогую, видимо, для него возможность?

Я понимал Белоглазова, хотя и осуждал его.

Можно было бы все-таки отдать мою пощечину Белоглазову. Но это было бы недостаточно. От его обиды мне же не было так плохо, как сейчас? Остальное, самое главное, сделали какие-то совсем другие люди. Если отдать ему мою пощечину, отдать ее только за тот, первый случай, то всё остальное останется без нее, то есть без пощечины.

Так я и ходил, тратя впустую мою горячность. Пощечина выделась у меня из руки. Это была очень тонкая, твердая дощечка, точный слепок ладони, со всеми ее щербинами, со всеми линиями жизни и любви, которые на пощечине были даже резче, чем на ладони. Они должны были где-то отпечатать себя.

- Какие они тонкие, наши пощечины! - подумалось мне.

Я носил ее, желая скорее избавиться. Она вырывалась у меня из руки, как живая, но я нигде не мог ее пристроить!

Кому отдать хорошую, старомодную пощечину, а потом за это ответить перед законом, как надо, и на том успокоиться от обиды? Отдать пощечину было некому. Кругом сидели понятные, дружелюбные люди, которые стремятся во всем только к лучшему.

Разделение труда зашло так далеко, что мою небольшую несправедливость составили совсем по незаметным, микроскопическим осколкам. Мало того, я увидел теперь, что и любую, даже громадную подлость делает много людей по таким незначительным частям, что не знаешь, кому за нее дать пощечину, по которой щеке.

Разве тому, кто проявит особую, личную подлость, которой не требуют от него остальные, которой не требует от него даже само это общее, конечное дело?

Но в моем, незначительном случае я не видел такого большого, подлого человека, который был бы достоин моей хорошей, ручной, примитивной пощечины.

Я повертел пощечину в руках и с горя бросил ее, точно детскую запускалку. Я метнул ее вверх, в наше небо над нами. Посщечина радостно помчалась туда, как ракета, как птичка, на больших скоростях, но вдруг, пролетев недолго, вильнула и, словно возвращенная кем-то оттуда, ринулась вниз и с утроенной силой неожиданно ударила меня по щеке.

И тогда я заплакал.

СЕКРЕТЫ

ЦИКЛ РАССКАЗОВ

секреты

Построили длинное, красивое здание, и в этом здании сделали два секретных завода.

Уж раз они оба так сильно секретны, то, казалось, должны бы на этом сдружиться, должны соединиться друг с другом внутри своих секретов, отстраняясь тем самым от прочего мира. Но нет, хотя они оба в одном общем доме, но стенку меж собой с двух сторон укрепили. Двор пополам перегородили забором. Даже на крыше построили колючую решетку поперек: чтобы эти два ихних секрета не могли никак смешаться, не могли бы схлестнуться сквозь чердак или крышу.

Выходят рабочие люди во двор - они не могут случайно перемешаться с соседом, чтобы их секреты, не дай Бог, столкнулись.

Выходят рабочие в город, на улицу - двери тут не разгорожены, тут мешайся как хочешь.

Вот идут они, скажем, обедать в обед - у них столовые разные, в разных углах, чтоб опять же секреты за едой не смешались.

А вот идут на автобус - на автобусе можно, на автобусе друг в дружку их готовы влхнуть, одной секретной головой меж лопаток секрета совершенно иного. В очередь можно стоять друг за другом. И на демонстрацию идти тоже можно. В бане секреты встречаются голыми. Пиво секреты любят пить после баиь.

Секреты женятся на секретах, мужские на женских. Секреты попарно живут по домам. Секреты секретам рожают девочек. Секреты секретам рожают мальчиков. Секреты совместно спешат по утрам к полвосьмому. Они прощаются сразу же, слезя с трамвая, и идут дальше рядом до самых дверей, но уже не проявляя никому своей женитьбы друг на друге, уже приговариваясь продолжать день отдельно, чтобы вышел как следует нужный секрет.

РАЗГОВОРЫ

Однажды у Семена образовался живой круглый рубль, который не надо было срочно куда-то нести.

"Пропить бы его, да что это рубль? - думает Семен.- На рубль можно только рассердить организм." Долго думал Семен, куда бы истратить этот рубль, чтобы вышло из него, из рубля, удовольствия приличных размеров.

Какие удовольствия воспринимал Семен всем сердцем?

Удовольствие пить.

Удовольствие съесть.

Удовольствие поговорить с понимающим человеком.

Все остальные мероприятия были бесплатно, для них Семенов рубль был не нужен, как лишний.

- Эх! - сказал себе Семен. - Пойду в юридическую консультацию у нас на углу, сдам его в кассу и спрошу там кого-нибудь на рубль поговорить.

Семен понимал, что у нас ему не могут за рубль отказать в разговоре. И это обстоятельство он бесстыдно использовал, потому что никто разговаривать с Семеном был не в силах. У Семена огромная мощь в разговоре.

- Значит так, - сказал Семен, заплатив один рубль как за малый совет. - Потому что свобода, - сказал он молодому юристу в очках, - и я очки не ношу, так как очки искажают нашу действительность, которая есть гарантия личности.

- Свобода свободы, - отвечал приветливо на это юрист, поправляя оправу костяшками пальцев, - свободное освобождение для всех, кто свободен.

- Но не в правах! - закричал Семен на всю кабину. - А если в правах?

- В правах обеспечено править права, - отвечал юрист, поразмыслив минуту.

Так они говорили подряд два часа, и это несколько утомило непривычного к разговору юриста, тогда как Семен не утомился ни сколько.

- Нам свобода гарантии и поправка у прав! - кричал Семен, наклонившись к юристу.

- Да ты что, парень, смеешься надо мной? - воскликнул вдруг юрист.

- А рубль? - сказал ему Семен. - Возвратишь?

Юрист стыдливо промолчал, потому что рубль уже давно смешался в кассе с другими рублями и выкопать его оттуда юристу было нельзя.

- Он круглый, - напомнил Семен.

- Проверка качества и качество проверки, - сказал со вздохом, продолжая, юрист. - Контроль контролера каждой личности есть личная поправка в правах.

- То-то же, - сказал Семен. - А ты говоришь!

В О Д К А

- Валя, мы взрослые люди, давай будем вместе жить замужем. Я к тебе каждый день на трамвае расходую по два часа. Для чего это надо?

- Не знаю, со мной будет трудно. Я злая.

- Нет, Валя, ты не злая.

- Нет, я злая.

- Нет, Валя, ты не злая. Ты, Валя, вспыльчивая.

- Я на мужчин очень злая за их водку.

- Ну, а что же водка? За что на нее сердиться? Водка - это вещество.

- Я очень злая на мужчин, которые всё время с водкой.

- Всё время - это конечно. Ну, а я что же? Я не всё время. В баню иду, скажу: Валя, давай маленькую.

- Это что, это не водка.

- В субботу тоже маленькую, на двоих.

- Это ясно. В субботу конечно.

- И в воскресенье на двоих, для отдыха. А так что же, какая же водка?

- Да это не водка! Я на это не злюсь.

- В первое мая я, Валя, немного прихватываю. В первое мая нельзя не прихватить, а то у нас даже на работе рассердятся. А так больше что же, какая там водка.

- Я про первое мая ничего не говорю. Я на первое мая не злая. Это разве водка?

- На седьмое ноября, конечно, надо больше. Все-таки, сама понимаешь, Валя, какой это замечательный праздник. Тут, Валя, надо - для высокой идейности. В этот праздник у нас даже директор выпивает.

- А я что? Я ничего. Я разве против?

- Ну, и новый год надо sprysнуть, чтобы крепче пошел. Или нет?

- Новый год - это ясно. Что же я - не понимаю?

- Потом, опять же, на Пасху. На Пасху без этого и яйцо не пойдет всухую. В Троицу тоже, на Николая-угодника, ну там еще на святителей каких-нибудь, Алексея - Божьего человека, на Успение, к маслянице, а больше-то когда? Больше совсем никогда, я этой водки не очень, знаешь, Валя, обожаю.

- Ну, это что, это не водка, а я на водку очень злая. На это я ничего не скажу.

- А если спирту на заводе дадут, я, конечно, Валя, выпью внутрь себя, но ведь не в рабочее время, а на ход иоги. Выпью на ход ноги - и сразу домой. А неужели же в добре мыть детали? Они и так блестят, как чистые.

- Это конечно. Зачем добро изводить? Это я понимаю.

- А если на улице пристанут, идешь и пристанут - на троих, например, то я не всегда соглашаюсь, Валя. И если позовет товарищ, я тоже, Валя, соглашаюсь не к каждому. А когда я выпивши, я ничего не совершаю, как другие. Я - ни Боже мой - стеклом не бью, на милицию не харкаю, так разве, дашь кому-нибудь в морду гражданскому. А власть я, Валя, люблю и уважаю. Я власть обхожу. Она, Валя, наша.

- Да нет! Это что. Я на это не злая. Это разве водка? А я же злая на водку, лучше сразу сказать.

Куча мала

Школьники делали кучу малу и задавили нечаянно Синелькова.

Куча малá образуется неожиданно, без всякой подготовки, потому никогда не известно, кто будет внизу. Игру в какую-то приличную игру - к примеру, в слона или, скажем, в овес, где всего только бьют по спине и не больше, как вдруг на кого-то найдет громкий крик, вдруг кого-то толкают среди коридора, и весь коридор вовлекается в кучу.

- Куча мала! - орут со всех концов школы. И кого-нибудь при этом ненароком задавят.

Задавили Синелькова, он лежит, откинул руки, откинул ноги, не дышит и бледный. Прибежала мать Синелькова и взяла его сразу из школы.

- Зря вы берете Синелькова из школы, - сказали ей школьники, качая головой.

- Это зря, это точно, потом пожалеете, - подтвердили воспитатели, учителя и директор.

Но мать не послушалась в этот день их совета и отдала его в другую, новую школу, где его никто совсем не знал.

Прошло немного времени, и Синелькова в той школе опять задавили. Лежит Синельков в коридоре, руки-ноги откинул, прибегают Синелькова мать и берет его снова из школы.

- Зря вы берете, - говорят ей опять одноклассники, но она их не слушает, ведет Синелькова уже в третью школу. Однако и тут Синелькова задавили опять.

Лежит Синельков... бледный... руки... не дышит. Прибегает в слезах Синелькова мать и забирает его, как всегда, вон из школы.

- Да зря вы его забираете! - объясняют ей школьники. - Если вы не заберете, то его уже вторично у нас не задавят, будут помнить, что когда-то уже задавили.

Подумала мать Синелькова и согласилась, потому что в новой школе, действительно, могут ли знать, что его уже давили? Не могут. И остался Синельков в этой школе. И уже Синелькова совершенно не давят.

То есть так он уверено уже твердо знал, что его ни за что никогда не задавят, что однажды разбежался, закричал наглым образом: "Куча мала!" - и с разбегу так и плюхнулся на самую вершину. Куча тут же раздалась, и Синелькова, конечно, опять задавили.

Лежит Синельков... руки-ноги... не дышит... прибегает Синелькова мать... хочет взять Синелькова из школы. Но в этот момент Синельков подымается и говорит:

- Не надо, мама, не бери меня из школы. Это я виноват, школа тут ни при чем. Я забыл, что я Синельков и что меня в куче давят. А больше я не буду забывать, и меня не давят.

Больше он, естественно, уже не забывает, и его уже не давят теперь никогда.

спорченная свадьба

По деревне ехала свадьба. Свадьба играла и сильно шумела.

Из дому вышла одна злая женщина, которая добровольно могла колдовать, и сказала:

- Дю!

Свадьба враз заколдовалась, обратилась в волков и побежала в лес. С тех пор жила эта свадьба волками в лесу.

Шел из армии солдат, видит - волки. Снял он наган и хотел их стрелять. Но одна соседка сказала:

- Не надо, солдат, не стреляй из нагана. Это не волки, это свадьба спорченная.

И солдат оставил стрелять из нагана.

Прошло какое-то время, и волки снова возвратились в штатский вид и пришли к себе в деревню. Одежда у них изнасилась, за это время, стала грязная и в лохмотьях.

- Как же вы вернулись в штатский вид? - спрашивают у них.

- А так. Время прошло, и вернулись. Нас пересмотрели, - отвечают спорченные.

- А чего же раньше не пересмотрели?

- Да раньше время не прошло. Через время всякую порчу пересматривают. А если бы не через время, - то вовсе не было порчи на свете. Так нельзя.

- Чем же вы питались? - спрашивает соседка.

- Плохо, - отвечают спорченные. - Вот у кого в тарелке осталось, да крошки на столе не убраны, то к нам и поступало. А больше ничего.

- Не буду крошки на столе убирать, - сказала соседка. - Не буду в тарелке доедать.

И не доедает.

ИНТЕЛЛИГЕНТ

На бульваре я встретил знакомую женщину. Она водила трамвай в блокаду. По набережной, до Горного. Снаряд угодил в моторный вагон. Ногу отняли до таза.

Она стоит со мной на бульваре. Это ее прогулка. Грузное тело обтекает костыли. Ватное пальто. Голова ушла в рыхлые плечи. Одна нога.

Она напоминает мне колокол, колокол на костылях. Костыли растут из-под мышек. Морозит. На бульваре ветер. Бульвар начинается в Гавани. Ей жарко. Трудно дышать. Это не нога, это сердце. Костыли растут из сердца. Сердце бьется, как колокол.

Я щедрый, я отдам ей ногу. Но мне нужна нога. Мне нужны обе ноги. Человеку нужны обе ноги.

Д В О Й Н Я

Была в деревне гулявшая женщина, которая никак не могла не гулять. Даже при оккупации немцев она продолжала гулять. Она это делала не за выгоду, а сама для себя, просто для женщины, что в ней содержалась. И вдруг понесла от чужого солдата. Доносив до конца, родила она двойню. Очнувшись от родов и увидев двоих, женщина схватила их рукой за загривки и, воскликнув слабым голосом: "Смерть немецким оккупантам!" - с силой ударила детей головами.

А что? Конечно, можно понять эту женщину: от немца, да еще неожиданно двойня, в это суровое и голодное время войны. Он, должно быть, нарочно напряг свои силы, постарался назло сделать в ней сразу двойню.

Чего было ждать в это время от немца?

ВОКЗАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ехал один солдат с войны. На войне он заслужил офицера, хотя и небольшого, но ходил в лейтенантском. Встретил он в вокзале девушку и полюбил ее, ничего что несамостоятельная.

Тут же по дороге он на ней женился и стал жить.

34509

GC 2113

Живут они два года, и у нее горя нет вокруг ни в чем. Через два года солдат-офицер уезжает в командировку, а ей захотелось еще главнее. И она сошлась с кем-то, с генеральским полковником или с другим, и уехала.

Оканчивает он командировку, а ее нет. Стал жить всё время без нее. Но погода какие-то месяцы пожила она там и пишет письмо: "Милый мой муж! Возьми ты меня обратно для себя, я буду тебе ноги мыть и воду пить, хотя я к этому неприспособлена".

На что он подумал и отвечает:

"Взял я тебя в вокзале, на вокзал и отправляйся. Хотя ты и была несамостоятельная, но я думал, что ты самостоятельная, но ты несамостоятельная по всему отношению. Теперь вы мне никто и звать никак, ты навсегда мне вокзальный человек."

Но потом все же сел и начал плакать. И с армии ушел, снял с себя лейтенантское и скорее забыл, что находился в своей жизни офицером.

м е ч т а

В городе Пушкине, названном так в честь великого поэта, один холостой очень долго не женился, потому что не мог найти на appetite себе женщину.

Как-то он познакомился с одной Марией Ивановной, но она при знакомстве обмолвилась, что имеется муж. Этого наш холостой никак не понимал: зачем у всех уже имеется муж?

Холостой часто видел Марию Ивановну в парке нашего великого поэта, где она гуляла и смотрела на народ. Мария Ивановна была хорошая, толстая женщина. Она даже не могла обнять себя за грудь. Она могла, но руки не сходились. Холостой часто с гордостью думал, что вот ведь, еще сохранились такие хорошие люди в народе, так что даже сам Пушкин мог бы ей насладиться, доживи он до нашего времени в городе, названном навсегда в его честь.

- Я всегда мечтал о такой толстой женщине, как вы, Мария Ивановна! - говорил ей часто холостой пониженным голосом.

- Да вы врете! - отвечала вежливо Мария Ивановна.

- Нет-нет, это правда, - уверял холостой, волнуясь от разговора и от внешнего вида Марии Ивановны. - Такую женщину не встретишь просто так, готовую. Такую женщину самому надо вырастить. Вот вы, например, Мария Ивановна. Если я вас позову на квартиру, вы же скажете, что вы, конечно, замужем?

- Ну да, - отвечала Мария Ивановна. - Ну и что?

- И что, понятно, вы любите мужа?

- Ну да, ну и люблю... - неохотно подтвердила Мария Ивановна, желавшая помочь идеалу одинокого человека. - Ну и что из этого?

- Вот видите! - говорил холостой с полной горечью. - Нет, такую женщину не найдешь, ее самому надо выкормить. Да только как угадать? Если так и останется худая на всю жизнь?

Мария Ивановна удивлялась про себя, что человек так неправильно рассуждает про жизнь, но не знала, чем ему можно при этом помочь.

- Надо уметь понимать современную женщину! - сказала как-то она со значением.

Но и это значение было напрасным.

- Надо, конечно, надо! - воскликнул холостой. - Но как? Пушкин, например, он великий поэт, он бы понял, а мне не под силу. Вот одна, поглядишь, она и кушает много, а все время худеет. А вы сама, Мария Ивановна, еду наверное любите?

- Нет, не беспокойтесь, - ответила Мария Ивановна радостно. - Мне немного красного вина для обстановки и, конечно, самую малость закуски. А больше не надо расходовать денег.

- Да, - говорил холостой и качал головой. - Вот вы и едите немного, а всё вам на пользу. Нет, никогда, никогда не поймешь этих женщин!

Так и не понимает холостой до сих пор.

ДОКТОР

- Доктор... вы знаете, доктор...

- Ну что?

- У меня зуб болит, доктор!

- Ничего у вас не болит.

- Как же не болит? Нет, болит - от холодного.

- А вы не ешьте холодного.

- Как же не есть? А если придется?

- Когда придется? Зачем придется? Назовите мне такой обязательный случай, когда вас непременно заставляют есть холодное! Мне даже интересно.

- Ну, мороженое, например.

- Ничего, без мороженого вы не умрете. Это не есть обязательный для жизни продукт. Ишь чего захотели - с больным зубом мороженого.

- Да ведь я люблю мороженое!

- Мало ли кто чего любит. Надо взять себя в руки. Это и горлу не полезно. Не ешьте мороженого! С возрастом приходится себя ограничивать. Дальше?

- Или чистить зубы по утрам - когда полощешь.

- Вы что же - полощите зубы холодной водой?

- Да... холодной. А что?

- Из-под крана?

- Из-под крана.

- Да вы что? Нет, вы лучше никому не говорите об этом! Полоскать из-под крана! А после, конечно, прибегают лечиться. Горячей, горячей полощите! Чтобы только терпеть. Забудьте про холодную воду в этом смысле! Ну, что еще?

- А вот, к примеру, на улице... мороз... Новый год...

- Не разговаривайте на улице! Дальше?

- Даже если не разговаривать... холодный воздух... если еду на лыжах, например... дышу полной грудью...

- Не дышите грудью! Дышите носом. Носом, носом дышите! В носу зубов нету, воздуха нос не боится, дышите носом, дышите... по носам другие врачи.

- Доктор, но там все равно, посмотрите, дырка.

- Дырка? Где дырка? В носу дырка?

- Не в носу... в носу, конечно, тоже... в носу даже две.

- Вот и хорошо! Дышите носом, дышите полным носом... второй кабинет направо... а зубов не касайтесь.

- Посмотрите все же, доктор, этот зуб... там глубокая дырка... она и болит от холодного.

- Ну и что же, что дырка? Мало ли дырок у нас в организме? Я не вижу, зачем вам понадобилось набирать в рот холодное и расстраивать зубы. Сейчас же у вас не болит?

- Нет.

- От горячего не болит?

- Нет.

- От крепкого не болит?

- Нет.

- Кричать не болит?

- Нет.

- Молчать не болит?

- Нет.

- Вот и хорошо. Вот и молчите. А лечить будем - не так заболит. Вылечим этот - заболит другой. Раз теперь не болит - и хорошо, и идите. Государство вас не трогает, и вы его не тревожьте. Живите дома без наших вмешательств!

тайная курица

Рассказ пойдет про то, как пестрая курица захотела жить по-своему, своим куриным умом.

Эта пестрая была такая же курица среди прочих кур. На хозяйкино кликанье первой кидалась бежать, чтоб не пропустить какой вкусной крошки. От петуха, когда он в задоре, бегала, как и остальные - не слишком усердно, чтобы всё же догнал. Яйца класть любила не в гнездо, а куда-нибудь в куст, но опять же не очень далеко и запрятанно, так чтоб хозяйка могла отыскать.

Летом пестрая клохтала, предлагая свое материнство, ходила распушившись, солидно ступая нога за ногой. Но стоило дать пестрой знать, что клохтанье ее ни к чему, как она его сразу же и оставляла, продолжая послушно нестись.

И вдруг неожиданно пестрая заклохтала под осень, когда клохтать нашей курице никак не положено.

Баба Саня Магьюнова, хозяйка пестрой курицы, посмеялась над ней своим народным громким смехом и посадила под корневушку. Но и там, в темноте, пестрая клохтала без конца, как упрямая. Магьюнова баба Саня обрезала пестрой хвост. Магьюнова баба Саня поливала пеструю водой. Но ничто не помогало.

Не понимая свою хорошую пользу, пестрая курица куда-то пропала от своей заботливой хозяйки.

Если бы когда-то баба Саня не спала, то она бы увидела ночью, как из-под сруба соседнего дома, который начали строить, да сил не хватило, так и оставили пока до лучшей жизни, - как из-под этого сруба среди полной ночи вылезает пестрая курица в узкую щель, озирается, уставя голову правой стороной в белый свет, чтобы поглядеть правым глазом, уставя после голову в белый свет глазом левым.

И что она видела в том белом свете, который ночью был почти вовсе черным, да еще при известной всему человечеству своей

курной слепоте, - непонятно. Но, оглядевшись, пестрая бежала прямо в поле, клевала там упавшие на землю колоски и скорее мчалась сквозь траву обратно в сруб.

Баба Саня Магьюнова перестала считать нашу пеструю своей наличной курицей.

- Она просто без вести пропала, баба Саня! Так что может объявиться, - шутили в деревне.

Но для бабы Сани она была теперь не курица, а все равно что птица, летящая в небе, от которой в хозяйстве никакого нет проку.

Прошло времени с' месяц, и вдруг эта пестрая выплывает откуда-то с цыплятами, двенадцать штук. И нисколько не прячется от хозяйкиного глаза - как невиноватая.

- Вот дура! - говорит баба Саня про глупую курицу, и все с бабой Саней согласны, что курица дура, только какая-то соседка с ними спорит, хотя ей, соседке, понятно самой, что цыплята сейчас не ко времени, а значит, точно - дура, что же с ними делать в эту позднюю осень, но соседка стоит на своем, говорит, что понимает эту пеструю куру, имея в виду свои какие-то посторонние мысли.

И хотя действительно пестрая дура, но цыплята все же выросли, а значит, какой же тогда с нее спрос? Тем более при ее, при курином уме.

П И Д Ж А К

Отворил как-то Коля нараспашку свой шкаф. Висит в шкафу его одежда, вполне готовая к выходу, только вложи в нее Колю: два костюма, пальто и еще пиджак один отдельный.

"Зачем мне пиджак? - думает Коля. - Пиджак не новый, да и брюк к нему нету." И решил его Коля продать в магазин.

- Пять рублей, - сказали ему в магазине. - А больше не можем.

Подумал Коля - пиджак все же старый, он носить его больше не будет, пять рублей же однако ему пригодятся. И продал.

Идет он однажды и видит в окне - висит какой-то пиджак и стоит, подумайте, всего пять рублей.

Пораскинул Коля своим холостяцким умом - пять рублей, если вдуматься, просто не деньги, зато в его хозяйстве будет лишний

пиджак. Он, конечно, не новый, да не все ли равно? Может, на работу какую пошлют деревенскую, может, захочется в лес по грибы.

- Заверните, - говорит продавщице Коля и берет тот пиджак.

Вот принес он пиджак, развернул и глядит. А это, оказывается, его старый пиджак.

В ШТАНАХ И БЕЗ ШТАНОВ

Профессор Богородицкий поссорился с соседом, не сойдясь с ним мировоззрением на моральные темы.

Однажды сосед заглянул к нему в квартиру, квартира случайно не была заперта, а профессор сидел у себя без штанов. Может быть, он одевался в другие, может, снял, потому что штаны ему несколько жали - но только сосед его увидел без них, хотя, разумеется, штаны лежали где-то рядом.

Сосед засмеялся и побежал рассказать всему дому. Весь дом смеялся в этот день над профессором, впервые представив ученого без штанов.

Профессор Богородицкий позвал соседа объясниться.

- Почему вы смеетесь? - спросил он его.

- Потому что я увидел вас сегодня без штанов, - отвечал сосед кратко.

- Что же получается? - сказал профессор в волнении. - Человеку нельзя снять штаны? Даже дома? Да он не может без этого обходиться, он не может жить всю жизнь в штанах, днем и ночью, он умрет, если не будет их немного снимать!

- Пусть снимает, но тайно, - стоял сосед на своем. - А если кто увидит, то тогда нехорошо.

- Да почему нехорошо! - воскликнул профессор. - Вы думаете, что достаточно взглянуть в замочную скважину, чтобы сразу же опозорить человека?

- А пусть не снимает, - сказал спокойно сосед.

- Да это и есть позор тому, кто не стыдится заглядывать в замочную скважину! - горячо возразил ему профессор.

Тут и наметилась разница в мировоззрении профессора и его соседа.

Сосед считал, что увидеть человека без штанов - есть позор для этого человека.

Профессор же, напротив, почитал унижением для тех, кто имеет глаза, вдруг увидать перед ними бесштанную личность. То есть

если уж такое внезапно случилось, следует об этом молчать и не признаваться, на что ты глядел.

Должно быть, по-своему каждый был прав. Но оба старались внушить свои взгляды другому.

- Значит, снять штаны никакой не позор? - говорил сосед иронически.

- Конечно, нет! Ничуть! - кричал профессор.

- А случайно увидеть не одетого стыдно?

- Да, стыдно!

- Да так получается, - продолжал рассудительный сосед, - что если кто меня захочет опозорить, он возьмет да и скинет передо мною штаны? И если я не успею зажмуриться, значит, я опозорен?

- Нет, а по-вашему получается, - кричал профессор, бегая по квартире, - что если кто меня задумает позорить, он будет заглядывать ко мне через щелку?

И тут профессор с соседом поссорились. А поссорившись, они решили оскорбить друг друга действием.

Профессор, в полном согласии со своими взглядами, быстренько скинул свой профессорский нижний участок одежды, чтобы опозорить соседа, которому придется смотреть на него, на такого.

Сосед же при этом тоже скинул брючонки, но совсем по другой причине. Он считал, что сделал хитрый психологический ход, что бьет профессора его же оружием: ах, ты считаешь, что стыдно смотреть на бесштаных - так вот тебе в этом случае, приимай свой позор!

- Жмурься, жмурься! - кричал сосед профессору.

Профессор же, напротив, оскорблял его молча.

Но никто из них при этом не имел в своем понимании позора, потому что сосед, против своих убеждений раздевая штаны, становился на точку зрения профессора, собираясь лишь ему принести неприятность. Профессор же, наблюдая соседа не по форме одетым, тоже не жмурил глаза от него, хотя считал, что вообще это стыд. Он тут же принимал точку зрения соседа и потешался над ним, гуляющим голым, тогда как тот сам полагал это стыдным.

Итак, один раздевался по взглядам, а другой - против взглядов. Но один, раздеваясь, потешался вопреки своим взглядам, тогда как другой, раздеваясь, потешался по взглядам. Но и наблюдая, смеялся один против прежних понятий, а другой в то же время наблюдал от души.

Вскоре же они перепутали взгляды - которые профессора, а которые, наоборот, его соседа. Перепутавши взгляды, они испугались, поскорей прибрались и убежали к себе.

Долго после этого, запутавшись в мировоззрении, профессор не снимал даже ночью своих широких профессорских брюк.

Сосед тоже долго не скидывал на ночь брючонки, боясь опозорить себя по нетвердости взглядов.

Многие могут, конечно, сказать, что описанный случай нарочно смешной. Что профессор мужчина, не хуже соседа, а тогда, мол, им нечего друг от друга таить в этом месте. Ну хорошо, а если б профессор был женщина? Кому тогда позор? Только из-за скромности и понимания тактичности поведения писателя на бумаге я не решился взять этот острый пример, хотя такие примеры иные народы решают.

Английский народ, например, твердо знает, кому в этом случае полагается его, английское пренебрежение. Английский народ уважает приличность. И французский народ тоже, видимо, решает этот случай у себя по-французски, потому что он, народ французский, обожает натуру. Но в нашем народе до сих пор неизвестно, кому же все-таки полагается в этом деле признание: то ли голому человеку за его неприкрытость, то ли, напротив, человеку пронырливому, увидавшему голого, где б тот ни скрылся.

Ф И Г А

Напрасно принято ругать и смеяться над фигой. Это простое сочетание пальцев необходимо человеческой личности. Только надобно хорошо разбираться, когда ее следует складывать и куда выставлять.

Часто, даже сидя один, я сплетаю ее то на левой, то на правой руке и люблюсь выпуклым ее очертанием.

Что за мысли приводят меня к любованию фигой?

Как известно, государство и личность всегда в какой-то степени будут враждебны. Этого не отрицают даже самые почетные оптимисты из нашей истории. Пока имеется государство, оно всегда постарается слегка прижать мою личность, она сама дала ему на это согласие, потому что иначе ей никак невозможно. Что-то она получает, а что-то, понятно, при этом теряет.

Но чтоб моя неумеренная личность не разворотила всего государства своим желанием все получать, ничего не теряя, для этого рождаются особые люди в народе, у которых на редкость устроена разумная голова. А для того, чтобы государство не могло задавить мою слабую личность совсем, на свет появляются люди другие, у которых тонкая чувствительность к каждой обиде, которая может получиться для личности.

Разумные люди сочиняют всем прочим разумные правила, чтобы везде образовался всеобщий порядок. А чувствительные кажут этим правилам фигу, если правила какую-то личность ненароком заденут. Фига призвана отбросить эти правила на версту от той личности, тогда как правила, напротив, должны нашу фигу раздавить, точно танк.

Когда я смотрю на мою слабую фигу, мне становится жаль ее фибры, нежные пальцы. Но от столкновения фиги с порядком вдруг получается взаимный результат: фигу не давят, ее немного сминают, разве что оттяпают один из трех пальцев, а правила тоже не откатятся вспять, они отходят на один миллиметр с половиной.

Нет, нельзя издеваться над фигой. Фига - нужнейшая часть организма. Она продолжение не руки, а души. Важно, разумеется, кому ее поднести. Если ты обращаешь свою фигу вверх - это фигу как фигу, инструмент для защиты человеческих прав. Но если показывать фигу в народ, в ссоре выставлять против ближнего человека, то и фигу становится слугой государства.

Нет, я всегда направляю ее только вверх, потому что я всегда на стороне человека. Я не говорю, что надо всем делать так, но ведь у каждого своя специальность. В ссоре я выставляю кулак, а не фигу, фигу я берегу для своей специальности, - ведь если кто-то не будет за личность, то кто же будет за бедную, за нее?

Я совал свою фигу вперед, сколько позволяет рука. По рукам моим били, и я слегка забирал их поближе к себе. Вскоре я показывал фигу на большом расстоянии. По фиге били с расстояния летучим предметом. Тогда я показывал фигу и скорей убегал. Это тоже не стыдно, так как дело всё же сделано, фигу показана. Вскоре стали меня догонять... иногда очень больно.

Потом я показывал фигу на быстром бегу, из окошка трамвая, из-за угла, из такси. Однажды даже держал у окна, летя над страной в скоростном самолете. Потом я больше ее не показывал, но имел при себе. Я не выходил на улицу без какой-нибудь крошечной, маленькой фиги, сделанной хотя бы из кусочка мизинца. Она поме-

щалась у меня за спиной, когда я вышагивал - за спину ручки. Она находилась в перчатке, за пазухой, но, как вы знаете, чаще все же в кармане.

С тех пор как карманы у нас отменили, а руки стали просматривать в улицах народные контролеры, я научился устраивать фигу из пальцев ноги и носить ее в ботинке - то в одном, то в другом, на ходу меняя ногу, но при этом ничуть не сбиваясь с установленного правилами шага.

В Е С Ы

Зину Шуманину выгнали из системы торговли, потому что неправильно вела себя с весами. Но Шуманина привыкла к постоянным весам под руками и ни на чем другом не пожелала работать.

Походила она по различным весовым организациям города и наконец нашла себе работу по вкусу: стала взвешивать на улице прохожих людей.

- Проверяйте свой вес! Это полезно для здоровья! - покрикивала Зина, сидя на углу, на скамеечке, возле весов.

А так как здоровье, в конце концов, главное, то многие трагически на две копейки, проверяли свой вес. Шуманина, конечно, их слегка недовешивала (как она привыкла по своей специальности), но это, в сущности, было никому не заметно. Вскоре недовесы пошли ей на пользу, стала Шуманина поправляться всем телом - и вообще поправляться, как любой гражданин, но особенно в самых выдающихся, женских местах.

- Зина-то Шуманина, гляди, как плывет! Во все стороны! - начали говорить во дворе ее соседки.

- Да, видать, полезная у Зины работа.

- А еще бы - у весов!

Они, разумеется, Зине завидовали, потому что Зина - женщина в теле и к тому же на месте не стоит, расширяется дальше.

Но однажды как-то она заболела и почти целый месяц не ходила на службу. Целый месяц не взвешивала она население и от этого спала заметно с себя.

- Ой! Что это с вами? - спрашивали Зину во дворе, когда болезнь окончилась, вроде как бы с участием спрашивали, а может, и довольные - кто же их разберет?

Зинин муж затосковал, не находя на ней всю ночь напролет, от зари до зари, прежних мест, к которым за последние годы так сильно привык, будто бы они прилагаются в таком изобилии к любой текущей женщине нашего века.

- Что же это, Зина? Да что же с тобой? - шептал он ей с горечью и даже раз заплакал.

Отчаяние охватило Зину при виде такого глубокого горя у любимого мужа. Зина сразу кинулась принять любые меры, чтобы только ей поправиться до своих предыдущих размеров. И тут она впервые начала тогда хамить у весов. Если раньше всегда недовес был пустячный, то уж тут она стала недовешивать на людей килограммы. Вскоре это дало результат, какой и надо: Зина снова возвратилась поперек себя прежней, Зинин муж перестал тосковать и метаться.

Все кругом замирали, когда она шла по улице. Все смотрели большими глазами на Зину, на Зинины полновесные руки, на полновесные Зинины ноги, полновесную походку этих ног по земле, на всю полновесную Зинину прелесть. Чего бы, казалось, ей еще и хотеть?

Но она уже привыкла к большим недовесам, и ей было теперь ни за что не вернуться обратно. С тех пор она стала непрерывно с весами хамить, и это не могло пройти совсем незамеченным.

Зине надо бы тогда призадуматься - хотя бы над вопросом о худых и о толстых. Зина, конечно, всегда замечала, что толстые легче относятся к своему недовесу, что им даже не жалко кило или двух, но всё же толстых она недовешивала меньше, как ни странно, потому что толстые к ней относились с доверием, словно к своей.

И худые, разумеется, ее уличили. Как-то раз они собрали небольшую, худощавую группу и, взвесившись на других весах, за четыре квартала, побежали скорей друг за другом, отнесли без потерь себя вешаться к Зине, - и у Зины, конечно, был большой недовес.

Тут же Зину вызвали в их, весовую, контору и велели в резкой форме совсем уходить от весов.

- Да они же пробежались, вот вес и упал! - пробовала Зина оправдать недовес. Но эта уловка ей ничуть не помогла.

- Ай, Шуманина, - качали головою в конторе. - Зачем уж так уж? Посмотри на них получше, они такие худые! Ты бы с тех принимала, которые поплотнее, мы бы, может, на это закрыли глаза. Разве мало в нашем городе упитанных людей? Им, в удельном отношении, это всё же полегче.

- Да я... - говорила Зина, и сама не понимая, как же это с ней вышло, но Зину не слушали. Ее навсегда устранили с весов.

Эта потеря любимого дела совсем у ней расстроила что-то внутри. Зина похудела - так, что больно глядеть. Зинин муж на глазах терял любимую, привычную жену, которая уходила неизвестно куда, растворялась. Он сдерживал себя, не показывал виду и только ночами метался во сне. Зина, конечно, не могла не замечать его страданий. Она долго думала и купила домашние небольшие весы.

- Приходите взвеситься, - предлагала Зина жалобно всем соседям по дому. - У меня весы точные, можно проверить!

Соседи Зину жалели, но на весы к ней не шли, опасались.

Зина зазывала детей со двора.

- Иди, конфетку дам! - обещала она. И дети к ней шли, она их взвесит и подарит конфетку. Но детей ей было обвешивать жалко. Даже, напротив, Зина им слегка прибавляла, от чего она, понятно, худела еще.

Тогда начала Зина взвешивать мужа. Муж смотрел на нее с весов с огромной любовью и жалостью, собираясь ничего не пожалеть из своего организма жене. И Зина с горя недовешивала мужу, как хотела, однако от мужа ничего к ней не шло, она по-прежнему продолжала худеть и худеть.

Как вдруг однажды Зина попробовала взвешивать себя самую. Как всегда, она значительно себя недовесила, но при этом недвес перешел не куда-нибудь, а опять к ней самой. Зина стала взвешивать себя ежедневно. Взвесит, недвесит - но это снова возвращается к ней, в ее здоровье. Прибавки, конечно, от такого не жди, но хотя бы худеть перестала, и ладно.

То-то было радости в семье у Шуманиных! И на радостях Зина даже вновь располнела - конечно, не совсем, но хотя бы слегка, - и уж это пополненне вполне удержала, с помощью все тех же, дорогих ей весов.

Человек в мятой шляпе

Сегодня вечером жена надела красивое платье, изобразила легкое волнение щипцами в волосах, но никуда не позвала меня из дома. И платье, и волнение волос она надела для меня одного, для семейной нашей жизни, которая проходит в чистоте и разумно.

Теперь она только что разоспалась посреди отведенной для этого ночи. Она спала, будто слегка торопилась, в сладком, блаженном поту, как ребенок. Хороший сон всегда исторгал из нее эту нежную влагу.

Но вдруг среди тихой, надежной ночи раздался звонок в нашу дверь. Я вскочил.

- Кто? Кто там? Что надо? - спросил я глухо через дверь.

- Человек такой, в шляпе, не сюда зашел? - спросили оттуда.

- Поимейте совесть, люди спят! Никто сюда не входил.

- Человек такой, Петя, на голове шляпа мятая? А куда же он зашел? - сказали из-за двери, и все замолчало.

Ну почему, почему позвонили как раз в нашу дверь? Дом большой, лестница длинная, площадки широкие, на них выходит по многу дверей, - а позвонили в нашу тихую дверь, затерянную между всех остальных?

Неожиданно выше этажом, точно над нашей постелью, заходили шаги и мгновенно после этого застучала кровать. Человек в мятой шляпе, стало быть, зашел этажом выше нас.

Кровать стучала почему-то очень долго, вдруг что-то грохнуло, будто спрыгнуло на пол, но сейчас же опять застучало, как прежде. Никаких человеческих сил не могло бы хватить на такое стучанье.

И тут я заметил: стук продолжается так же надежно, а возле стука кто-то расхаживает взад и вперед. Так значит, точно, человек в мятой шляпе зашел как раз туда. И значит, человека в шляпе догнали - вернее, именно сейчас догоняют.

Больше сегодня я заснуть не смогу.

Значит, это само уже идет в нашу дверь, уже стучится, пока еще не он, не сам человек в мятой шляпе, а лишь догоняющий, сбившись со следа.

"Но будет, будет время, - с горечью думаю я в темноте, - когда войдет к нам сюда и эта самая шляпа. И вряд ли мы сможем ее не впустить."

МИР ДЕТСКИЙ

Тот дом, где сам я недавно стал жить, - такой же, как все остальные дома, во всех других городах. Он шумен, часто празднует, в будни и в праздник, часто ссорится, устает, работая кто где работает.

Что бы я ни рассказал вам про этот мой дом, все будет правда, но и все будет ложь. Потому что всякая частная правда есть ложь.

Например, тетя Настя, встречаясь, говорит Ивановой:

- Сегодня все субботницы ринулись в баню, потому что будет интересный телевнзор. Нам же, пятничным, нельзя и помыться.

А Иванова ей второй раз рассказывает, как кто-то вчера долго шел за ней по темной нашей улице, преследуя свою цель. И если послушать Иванову, то весь наш мир только того и желает, как бы догнать ее в темной улице и сделать что-то такое, чего она давно от него ожидает. А если послушать тетю Настю, то окажется, будто бы все желают лишь одного - сговориться и прийти вместе в баню в тот самый день, когда она, тетя Настя, привыкла мирно помыть свое тело.

Но стоит тихо посидеть на скамейке часок, и уже включаешься в мир детский, в мир старушечий, мир материн, мир небольших, выводимых на воздух собачек - тоже мир не настоящий, то есть настоящий, но частичный, в своей естественной чистоте, в своем сплошном материнстве, ибо вот появляется в этом мире мужчина, он идет с работы, в полотняных штанах, с пиджаком, подвешенным меж локтём и подмышкой, кто-то кричит ему папой, вызывая подходящую на это улыбку, которая тут же и стирается, постояв сколько может, и вот уже яростно шепчет о чем-то той матери, что недавно было только мать, да и всё, что-то такое меж них происходит, чего на эту площадку не пустят, зашепчут, унесут при себе - но что тоже есть, тоже мир, тоже часть.

Васенька

Как-то Коля Федин задержался у Катьки Шаровой в дому. Один только раз они с ней пошутнили и сразу придумали Васеньку. Назавтра стала Катька поправляться и поправляться. Все это видят, и решили на Ивана Тимофеева, то есть что она поправляется от него. Иван с ней на пару ездят в озеро уже третий год.

- Да нет, - сомневается кто-то. - Иван, он серьезный. Он не пошутит.

- Серьезный, верно, - соглашаются все. - Да ведь третий год вдвоем ездят в озеро. Там вдвоем что хошь можно выдумать, а не то что Васеньку.

Иван гулял до той поры с Зоей Тушиной, а тут она Ивана сейчас же отбросила. "Вы там в озере с Катькой Шарухой придумали Васеньку, а я ходи с тобой". "Зоя, - говорит Иван. - Да я же с Катькой не грешил, я серьезный." Но Зоя Ивана берет под сомнение и к себе не приглашает. Тогда пошел Иван к Катьке и говорит:

- Ты что же меня позоришь? Я ведь с тобой не грешен. Ты же знаешь сама, от кого виновата.

Катька вышла на народ и прямо всем в глаза сказала:

- Не говорите на Ивана, Иван не виноват, это мы с Колей Фединым пошутили и что-то, вроде, придумали.

И Коля Федин тоже не отрекается, чего ему отрекаться? Правда, Колина мать предлагает, чтобы он на Шарухе женился, раз у них получилась эта шутка, но Коля не хочет.

- Что ты, мама, - говорит. - Посмотри меня в зеркале, я на что тебе зеркало из города вез? Ведь я ей не пара, я ловкий, оживленный, а она гляди какая неповоротливая, толстая, ну в общем, верно - Шаруха.

Это правда, потому что Коля Федин парень очень заманчивый, Шарухе за ним никогда не угнаться, хотя у нее уже есть одна дочка, Клавка, восемь лет с половиной.

- Ну, а если Васенька родится? - спрашивает Колина мать. - Что тогда?

- Ну, а что же тогда? - отвечает ей Коля. - Будет Васенька, да и все, и хорошо. Пускай его будет.

И пошел опять танцевать, не стал жениться на Катьке.

Через несколько времени, и правда, получился у Шарухи Васенька, и очень хороший, удачный, весь в Колю Федина. Ведь надо же, с одного только разу - и Васенька, да еще такой славный. Другне год стараются, а выходит еле-еле, так себе, какая-нибудь Валька захудалая или Петька сопливый.

Растет Васенька быстро, ему, конечно, сказали, что папа его Коля Федин. Да он бы мог и в зеркале это узнать, когда в школу пойдет, - до того он совсем точный Коля, ну прямо носит по деревне Колино лицо на своей голове.

Коля с Васенькой тоже всегда очень ласковый. Придет Васенька на танцы, проберется между ног прямо к Коле и тянет снизу его за штанину. А Коля спрашивает:

- Чего тебе, Васенька? Подожди, Васенька, танец окончу и поговорим.

Окончит танец, девку отпустит и разговаривает с Васенькой.

Один раз Васеньку, конечно, научил. Пришел он, тянет Колю за штанину, говорит, что выучил песню и просит эту песню послушать. Коля танец окончил и присел, чтобы слушать. Васенька и спел ему куплет:

Пора, Коленька, жениться,
Пройдут твои года.
На хрену будет морщина,
Поседеет борода.

- На чем, на чем морщина, Васенька? - спрашивает Коля ласково.

- На хрену, - отвечает Васенька, так ясно отвечает, трудную букву говорит, как большой, с перекатом. А другие в эти годы ни одной целой буквы во рту не имеют. Но и тут не женился Коля Федин на Катьке.

Скоро пришел из тюрьмы Катькин муж, Яша Осин. Яша был политический, дезертир, отбывал восемь лет. Он, конечно, Васеньку Катьке простил, потому что ему было некуда возвращаться.

- Я восемь лет не находился дома, она была молодая, и я ей прощаю, потому что всего один раз пошутила.

Но Васенька не признавал Яшу папой, хотя тот старался. Купит Васеньке гостинец, его спрашивают: "Кто тебе, Васенька, это купил?" А он отвечает: "Клавкин папа". Еле заставили говорить Яше папой.

- Кто тебе, Васенька, - скажут, - купил?

Он тогда уйдет за занавеску, молчит, а потом сквозь зубы ответит, безо всякой охоты:

- Ну, папа.

Коля Федин после тоже женился, и сын у него был, и две дочери, но все в жену, а в него уже не было детей, не получались, всё, видно, в Васеньку ушло, хотя и с одного несерьезного, случайного разу.

ВСЕМИРНЫЙ ПРАЗДНИК

Этот праздник проводится в начале весны. Нет, этот праздник не объединяет людей с одинаковой профессией в нашем труде. Он не перекликает каких-нибудь разбросанных всюду социальных людей. Он не соединяет по возрасту - только одних молодых, только каких-нибудь отцов или только детей. Он не объединяет по вере, по способностям, по силе убеждений; по цвету организма или форме носов.

Но это и не какой-нибудь праздник, отмечающий календарь или начало погоды на свете. Этот праздник действительно соединяет людей во всем мире, хотя людей и не всех, а одну половину. Короче, он объединяет всех женщин, от мала до велика, всех стран и всех противоположностей, какие только есть. Это праздник всеобщего женского человечества мира - международный женский день восьмого марта.

- Ура нашим женщинам! - кричат мужчины в этот день за столом и целуют наших женщин, которым ура.

Что же, этот праздник, выходит, совсем не идейный? Веселись, пой, гуляй, - а ни за какую идею? Просто, получается, ради прелестей женских, ради девичьих прелестей, особо прелестных, хотя бы уже недоступных по вашему возрасту?

- Ура, - кричишь, - нашим женщинам! - И никого не целуешь.

Но дело, оказывается, совершенно не в том - целуешь ты или же нет эту праздничную прелесть, потому что всё же праздник на редкость идейный.

Он идейный, так как женщины соединяются не за здорово просто живешь на земле. Они объединяются в международный женский коллектив восьмое марта, но не на основе своего ослабленного пола. Чего им соединяться на такой одинаковой, неинтересной им основе?

Этот праздник демонстрирует сплошной всемирный женский патриотизм. Правда, их патриотизм слегка направлен меж собой друг на друга. Голландский, например, - он направлен на датский. Датский, в свою очередь, опять же на голландский. Шведский, как вы понимаете, на ближний норвежский. И конечно, норвежский обратно на шведский. Французский женский - на женский немецкий. Женский немецкий - на тот же английский. Английский - на испанский, испанский на американский, а американский, как известно, на всех. И так далее.

Вроде бы странно, что они объединяются на такой основе, непригодной для всеобщего единства по причине вражды. Но вот ведь, надо же! - на ней они всё же хорошо соединяются, коллектив с коллективом.

И только нашлась одна какая-то Элен - если не ошибаюсь - Колеи, которая не была в этот день патриоткой.

- Элен Колен, вы патриотка? - спрашивают ее за столом.

- Нет, - говорит Элен. - Я за мир.

- За мир-то за мир, - говорят возмущенные женщины. - Мы все за него, за одного, на то мы и женщины, на то мы и матери. Но ведь бывают войны разные, или вы не слышали?

- Нет, а я против всякой войны, - отвечает Элен, улыбаясь наивно, улыбаясь, как ей кажется, женственно.

Но все с возмущением выгнали Элен Колен из-за патриотического вкусного стола. Так ей и надо. Женщины мира хорошо понимают, что лишенная патриотизма эта самая Элен - как ее - Колен не может с ними никогда соединиться. Она лишена понимания женщин всех стран. Она лишена понимания и мужчин всего мира. Мужчины, не видя Элен объединенной в женское человечество, не имеют к ней интереса, так как начинают понемногу сомневаться, а правда ли эта Элен - существо под одеждою женское. А каждый раз проверять не совсем интересно.

Надо сказать, что и мы с вами тоже осуждаем Элен. Мы знаем, что тот, кто не входит ни в какой коллектив и, казалось бы, от этого никому не враждебен - тот как раз и есть всем и каждому враг. И хотя вливаясь в один коллектив патриоток, Элен от всех остальных, как нам кажется, сразу отъединится, но лишь в коллективе она соединится со всем прочим миром, как мужским, так и женским. Отъединяясь - соединяешься. Не отъединяясь не будешь соединен, потому что не отъединяясь растворишься, а растворившись не соединишься. Соединившись, конечно, отъединишься, но зато не растворишься, а не растворншься - тогда будешь связан со всеми, оставаясь в то же время при всем при своем.

Вот идет современный молодой человек. И встречает где-нибудь на Невском Элен. Глаза у ней блестят, чулки международные, словно у прочего всемирного коллектива хорошеньких женщин; всё, что можно, ничем у нее не прикрыто, а что прикрыто - еще соблазнительней проступает на каждом шагу.

- Ах, что за девушка! - говорят ей взволнованный молодой человек, преграждая дорогу. - Может, это и плохо, но мне бы хотелось прямо тут, не отходя от тротуара, познакомиться с вами и все рассказать о себе.

- Ах, как жалко, - отвечает Элен, виновато потупя глаза. - Но я, понимаете, не совсем патриотка.

- Как не патриотка?! - изумляется молодой человек, который никогда еще такого не встречал в своей жизни. - Может, вы даже не входите в мировой коллектив?

- Да, - отвечает Элен. - Не вхожу, что же делать.

- Как же вам не стыдно, как не стыдно! - с горечью кричит молодой человек и кидается прочь от Элен, бормоча: "Ходят разные... привлекают... глазки, кофточки, ножки... а сами..." И с горя отправляется, потеряв веру в жизнь, к каким-нибудь очень дурным, но вполне коллективным красоткам.

Славная Элен, милая Колен, симпатичная Элен Колен - в юбке выше, заметьте, колен - она лишь обманывает нас всех, встречаемых на улице мужских мужчин человечества...

А это ведь, честное слово, совсем не красиво!

Старая, вредная мама

В старинном русском городе Кесова Гора живет среди прочих людей какая-то пожилая тетя Шура. Тетя Шура встает и с утра выбегает во двор.

- Сегодня маму увидела во сне! - кричит она громко.

- Подумать только! - ахает соседка Барыкова. - Опять ваша мама!

Барыкова бежит и снимает с веревки белье.

- И что она вам снится, - говорит недовольно весь двор.

- Такая старая, приличная женщина, довоенный покойник, - пора бы ей давно не беспокоить вас ночью.

- Это город такой, - объясняют другие, недовольные городом.

- В нашем климате мама будет сниться весь год.

Старые потирают колени и другие суставы. Молодые с огорчением смотрят в небо, которым заведует тети Шурина мама.

- Опять увидела во сне свою мать! - передают всеиародно, из уст в уста, и качают этими устами, прикрепленными к голове.

Уж если к этой женщине, пожилой тете Шуре, приходит во сне еще более старая ее покойница-мать, то уж не менее как по причине скорого дождика с неба. Бедная, покойная мама во сне тети Шуры всегда непременно призывает на ее голову дождь. Мама забывает, что голова тети Шуры качается не отдельно, а посередине всех прочих невинных голов ее народа.

- Сегодня маму во сне увидела: опять будет дождь! - предупреждает тетя Шура, обходя всех знакомых, как виноватая.

И к середине дня на ясном небе Кесовой Горы неохотно появляется дождь в серой туче.

К а д р ы

Люба работает на заводе, но не в производстве, а в кадрах. Любе нравится работать в этих кадрах.

Вчера, например, познакомилась Люба у южного входа с одним молодым человеком по имени Яша и назначила ему свиданье на сегодня, в пять пятнадцать. А прежде чем идти на свиданье, взяла Люба карточку этого Яши и все хорошо про него почитала. Яша по карточке числится вполне молодым - так он ей сразу показался и на взгляд. Учится Яша вечерне-заочно. Так он Любе и сказал, что он учится. А в семейном положении он еще не женат. Правда, если и женат, то Любе это неважно. Люба девушка добрая, а он мужчина, он пускай сам решает, что ему с Любой делать. А еще узнала Люба, что Яша еврейчик.

Но и это ей ничего, она как раз наоборот, она еврейчиков любит. Даже начальник их кадров, Иван Николаич, и тот не презирает их сам от себя.

Но Люба не явилась на свидание к Яше, потому что Иван Николаич оставил ее вечером для срочного дела.

- Приходи в кабинет к окончанию дня, - велел Иван Николаич. И Люба пришла.

Иван Николаич был тоже красивый, но строгий и партийный мужчина, с усами. Он вместе с Любой просматривал карточки третьего цеха. Просматривал он карточки, отбирал, передавал их Любе, чтобы Люба учла, как вдруг он придвинул свою партийную ногу к самой Любиной коленке, положил свою партийную руку прямо Любе на пальцы, да и там позабыл. Сперва Люба думала, что он позабыл нарочно, но вдруг кто-то в дверь постучал, Иван Николаич дрогнул телом, как пугливый олень, и скорее принял свою руку назад.

- Войдите! - приказал Иван Николаич, и кто-то взглянул в полщели, но увидел, что тут сильно заняты, и войти не вошел.

А раз не вошел, то Иван Николаич так же тихо вернул свою партийную ножку обратно и возвратил теплым Любиным пальцам свою партийную ласку. Любе было не жалко наружности для Иван Николаича, но она понимала, что он подчиняющийся человек, а им такого нельзя, хотя, конечно, для жизни и надо, как всем.

Но вдруг он сам оторвался от Любы, хотя никто не стучал и нигде не шумел.

- Подумать только, и Роцин еврейчик! - сказал он с досадой.
- А я, признаться даже, Люба, не знал.

Нет, Иван Николаич еврейчиков любит. Они, говорит он, работать умеют. Но он на еврейчиков немного обижен. Сами себе они, глупые, портят.

- Ну не мог национальность обменять, чудак-человек! - сердился иной раз Иван Николаич на какого-то Роцина, имевшего вполне патриотическое имя и фамилию. А сердился он тоже от большой своей партийной доброты к нашим людям.

Иван Николаич брал бы этих еврейчиков сколько придут. Но это не нравилось нашим рабочим. Как только где много становилось еврейчиков, то в кадры сейчас приходило письмо: "Так и так, куда смотрят органы, в третьем цехе, товарищи, неблагополучно по части еврейства. Получается неравномерное скопление, и я на это обращаю свой протест. А если меры не примете, напишу по каналам." И в конце обязательно подпись: "рабочий Петров" или "рабочий С.Пряткин" или другие рабочие фамилии. И хотя почти всегда таких рабочих на заводе не работало, но Иван Николаич понимал их трудовую законную скромность. Правда, он досадовал, что они такие строгие к носатому народу, что они не обожают, когда он чернеется среди рабочих мест, - но ничего поделать не мог. Раз письмо, надо было расследовать.

Расследует Иван Николаич, выясняет, например, что еврейчиков скопилось немного или что каждый поставлен указанием свыше, можно бы на том и успокоиться, - но он неспокоен. Иван Николаичу не нравится, что некому доложить о результатах проверки.

- Вот черт! - восклицает Иван Николаич сердито. - Хотя бы адрес поставил, куда отвечать!

А так как писем таких было много, то и сидел Иван Николаич по вечерам с Любой часто. Сидят они с Любой, он немного ее обвиняет партийным, крепким объятъем (он уже начал вполне обнимать), но объятъе у Иван Николаича будто на крыльях, в каждом пальце содержится чуткое ушко.

Люба очень надеялась на наших еврейчиков, что они их с Иван Николаичем вскоре подружат. Но Иван Николаич обнимал ее, только пока занимался анкетой, а когда переставали, он сейчас делал вид, независимый от своего недавнего объятъя. Люба, правда, думала, что это пока, что потом он привыкнет и забудет делать вид. Очень Люба надеялась тогда на еврейчиков и даже однажды сама написала письмо, которым они занимались полмесяца.

Но потом неожиданно еврейчики кончились, то есть их равномерно везде распихали. А с ними у Любы окончилось всё.

Так что теперь она немного не любит еврейчиков - ну, зачем они кончились, были б еще! А без них, Люба это понимает, Иван Николаич не может ее вызывать. Вызывать просто так ему Любу нельзя, ему не позволяет партийная совесть, и это как раз очень нравится Любе, потому что еще никогда не любили ее наши партийные серьезные мужчины.

- Что же вы не пришли? - спросил как-то Яша у Любы в столовой.

- Я все время занята, - сказала строго Люба. - У нас с вами, знаете, сколько возни?

- С кем это, с нами? - спросил Яша весело.

- А с вами. Со всеми. То есть с кадрами. Сидим допоздна, - ответила Люба и скорее ушла, обижаясь на Яшу за то, что еврейчик.

перемены

Мы пришли к ним в гости и забыли там книгу, которую очень любили читать. Они сейчас же пошли отдавать нашу книгу, но забыли по рассеянности зонтик. Не зная, к чему это все приведет, мы на завтра же сбегали, отнесли честно зонтик и забыли при этом в прихожей калошу. Они принесли нам калошу в газете и забыли эту газету. Отдавая газету, мы забыли жену. Возвращая жену, они вернули по ошибке свою.

Потом мы неоднократно собирались то у нас, то у них, но все время получалось, что возвращали мы не то, что было нужно, какие-то новые люди оказались втянутыми в эти замены, никто уже не мог остаться в стороне, каждый вечер кто-то куда-то бежал, чтобы что-то кому-то вернуть с извинением, а взамен получить другое, близкое, но никогда более в жизни моя книга, моя газета, мой зонтик, моя калоша и моя жена не попали ко мне - моя жена, которая дышала на меня шоколадкой, но ни одна больше женщина не дышала на меня шоколадкой, хотя все только кругом и старались, как бы вернуть всюду прежнее, счастливое расположение вещей.

Но ничего, жизнь не прерывается, и возможно, к сыну моему вернется моя книга, моя газета, мой зонтик, моя калоша и моя жена, которая дохнёт на него шоколадкой.

Или внуку вернется моя книга, моя газета, мой зонтик, моя калоша и моя жена, которая дохнёт на него шоколадкой.

К правнуку вернется мой зонтик и дохнёт на него шоколадкой.

ПИСЬМО СО СЛУЖБЫ

Привет из г. Пензы! Здравствуй дорогой дружок Витя. С чистосердечным пламенным армейским приветом к тебе Леня. Твое письмо получил за которое очень и очень благодарю. Немного о своей армейской жизни. Она у меня сейчас не очень-то хорошая. Вчера только пришел с губы. Сидел за пьянку. Были в увольнении выпили немного. Пришел с увольнения. Все нормально. Думал что не засекли. Все хорошо. Но хуя. На следующий день вызывает начальник и давай спрашивать. Пил или нет. Говорю нет. Потом вызывает моего собутыльника и тот все рассказывает. Вернее он раньше рассказал а сейчас подтверждал. Но тут уже мне некуда податься признался. Ну и вклеил он мне от имени командира части десять суток а этому гаду только три наряда. Но ничего с ним особый разговор состоялся. В общем стали прижимать нас рядовых. Сержанты окончательно опидарасели. Даже в дисбате и то лучше чем у нас. А здесь гоняют как последних пидарасов. До Нового года ничего не было. А сейчас с ума можно сойти. Сержантов велят на Вы называть когда они последней собаки не стоят. До армии где-то в гамне копался, а сейчас командует. Ну что же, как ни плохо а служить надо. Никуда не денешься. Вот такая сейчас моя армейская житуха. Ты Витя держись как бы тебе тяжело не было. Ведь гражданка не армия можно прожить. Здесь тяжело и то живешь. Вчера пришел. Сегодня вот, целые сутки отдыхаю. Нечего делать абсолютно. Ничего пока не ломается. Вся аппаратура работает отлично. Правда немного на политике сел. Всю дорогу долбают одно и то же. Сейчас. Вот тебе напишу письмо и пойду спать. Быстрее бы дембель. Этого дня жду как бога. Тебе советую лучше в армию не попадать. Ой, черт. Хотел ложиться спать. Так вызывают к старшине работать. Извини Витя. Спешу. Крепко жму руку. Досвидание.

С Т Е К Л О

Я сидел днем в кафе у большого окна во всю стенку.

Снаружи подошла к окну женщина и долго смотрелась оттуда в меня. Она смотрелась в упор, поправляя волосы, шляпу и брови у себя над глазами.

Я сделал нахальное мужское лицо у себя на лице - но она не заметила.

Я подмигнул ей - она не увидела.

Я сделал умные и грустные глаза хорошего, страдающего человека, но она не обратила никакого внимания.

Мне стало горько и обидно, что она увидела во мне лишь себя, хотя подошла ко мне так близко, как никогда не подходит посторонняя женщина.

Это очень всё же невозможно представить, чтоб какое-то тонкое прозрачное стекло так серьезно умело разделять нас друг с другом, используя для этого самое лучшее - свет; хороший, ясный свет, подаваемый с неба.

ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНКА

- Разве может человек спать у железной стенки? - кричал Семен Семеныч, мужчина из дома угрозы. - Человек не может спать у железа!

- Почему у железа? Ваш дом деревянный, - рассудительно сказал председатель жилищной комиссии. - Значит, и стены у вас все обязаны быть деревянные.

- Были деревянные, а теперь обиты железом!

- Да почему?

- Потому что я обил! Я! - вскричал Семен Семеныч.

- А кто вас просил? - сказал председатель спокойно.

Семен Семеныч смотрел на председателя и думал: как это выходит - председатель что-то говорит, много говорит, а слушать от него просто нечего.

- Меня никто не просил, - объяснил он председателю, как глупому. - Меня обстоятельства жизни попросили. Стенка ко мне выпирала горбом - вот я и обил, чтоб не выпала.

- Напрасно вы вмешиваетесь в жилищные темы, - сказал председатель и улыбнулся. Но Семен Семеныч не пошел на улыбку.

- Как же не вмешиваться? У меня дочка спит у железа! Может человек спать у железа, а тем более способная девушка?

- Но ведь железо не от нас, железо ваше?

- В общем так, - сказал Семен Семеныч твердо. - Если мне моя власть не поможет, я возьму и негра к себе приведу.

- Это зачем? - удивился председатель.

- Возьму на улице и к себе приведу, - сказал Семен Семеныч. - Пусть Европа увидит, как я живу!

- Ну и что? Ну и пусть увидит, - сказал председатель. - Нам плевать на Европу.

- Ничего, а я приведу и покажу. Тогда запляшете! - сказал Семен Семеныч и ушел из конторы.

Через полгода Семен Семеныч привел к себе негра. Это был веселый человек, черный, словно темная осенняя ночь в этом городе. А чтоб не выделяться из всех остальных горожан, негр одевался похуже, в местные висючие штаны и полубобочку искусственного шелка.

- Может человек спать у железа? - спрашивал Семен Семеныч у негра. Он волновался, стучал ногтём по стене и сам слушал, отколупывал обои, ложился и прижимался боком к ржавому железу, которое открылось под обоями.

Дочка Семен Семеныча Галя крутила безо всякой нужды телевизор, пристроившись так, чтобы хорошо видеть негра.

Негр с улыбкой смотрел не отрываясь на Галя, но не в глаза, а почему-то в рот, в котором Галя белыми зубами кусала конфету - хорошую, прочную конфету, с сопротивлением на каждый укус.

- Понял? - спрашивал Семен Семеныч и бил негра в грудь.

- Я приходил еще? - попросился негр. - Смотреть железный стена?

- Приходи, приходи! - кричал Семен Семеныч в волнении. - Пусть Европа видит, как я живу!

Негр пришел и опять смотрел, как живет Семен Семеныч со своей дочкой Галей, и все никак не мог насмотреться. А потом негр женился на Гале и остался смотреть на них двоих навсегда.

Теперь уже сам этот негр по имени Вася спит у железной стены, а не Галя.

- Европа! - говорит Семен Семеныч с горечью. - Разве нам Европа поможет? У железа спит - и хоп хны!

Но Семен Семеныч, конечно, не прав. Европа помогла Семен Семенычу - то есть Европа (или как ее там) в лице негра Васи, который телом своим защитил его семейство от железной стены.

О Ч К И

- Скажите, это очень неудобно - носить очки?

- Нет, я бы не сказал. В основном, удобно.

- А разве нос не натирают?

- Нет, не натирают. Носу даже приятно. Нос даже чувствует, что он нам полезен.

- А за ушами не трет?

- Нет, и за ушами не трет, за ушами привыкло.

- И глаза не устают от искаженного света?

- Ничего, глаза не устают, глазам этот свет даже нравится больше.

- Может, и мне завести, если это удобно?

- Конечно, заводите! Заводите, не бойтесь, это очень удобно. Вот только неудобно по физиономии получать.

- Ах, действительно, это как раз неудобно! Я об этом забыл. А нельзя ли попробовать не получать? Как-нибудь вовремя уклоняться или бить самому?

- Да вы что! Разве можно в нашей жизни без этого обойтись? Даже по улице без этого не пройдешь поздно вечером. Нет, никак не обойтись, если даже стараться. Бить самому - разве мы это с вами умеем? Для этого надо целый день упражняться, надо всю жизнь посвятить упражнениям. Да и как-то, вы знаете, даже приятно. Получил - и ходишь неделю в обиде. Идешь себе: обиженный хороший человек. Нет, без этого просто не чувствуешь себя человеком! Даже слабый удар по щеке или по носу, если он к тому же не совсем справедливый, отдаляет вас сразу от всей нашей подлости, от любой нашей лжи. К тому же, надо понимать и того, кто нам бьет. У него это тоже ведь форма протеста! А вы думали, как? Он дает, протестуя, - для него это форма, мы же с вами получаем - у нас форма другая.

- Да, но как быть с очками?

- А что?

- Да ведь как же при этом их носить на лице?

- А так. А ничего. Я же, видите, ношу. И кругом люди носят. Поглядите, как много стало нынче в очках. Многие теперь предпочитают получать. Просто очки тогда падают на пол.

- Но ведь, падая, они разобьются? Они же стеклянные?

- Ну и что?

- Как ну и что? Надо будет вставлять.

- А вы хотите быть хорошим человеком бесплатно? Можно в наше время немного потратиться, чтобы чувствовать себе по-настоящему человеком? К тому же, бывает, удастся схватить на лету. Так что даже не всегда надо тратиться. Да вы увидите сами. Это очень удобно!

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

В санатории всех превосходно питательно кормят по четыре раза в день, чтоб как следует поправлялись, кто, конечно, сумеет. И так как сюда собираются с целью поправки (для чего же еще?), то зовут в санатории всех одинаково, без имен и без званий, просто так: поправляющийся.

- Товарищи поправляющиеся! Станьте гуськом, друг за другом, в затылок! - кричит, к примеру, затейница в свой громкий рупор, что-то там затевая для пущей поправки.

Все тут же стали в затылок, приготовились поправляться поперек себя шире, кроме одного пожилого старика с морщинистой лысиной.

- А вы, поправляющийся? - закричала затейница. - Вы чего же не стали? Или вас не коснулось?

- А я не поправляющийся, - сказал спокойно старик и только сморщил грустную лысину.

- Как не поправляющийся? Почему? - удивилась затейница.

- Потому что я совсем не поправляюсь.

- А что же вы делаете?

- Я стараюсь, но никак не выходит. Не поправляется, да и только.

- Так кто же вы тогда?

- Иванов, Петр Евсеич.

- Ну хорошо, ну Иванов, а кто же вы будете тогда, Иванов?

- А так, никто, Иванов да и всё. И вообще я тут недолго, скоро я отсюда убуду, потому что умру.

Затейница ненадолго задумалась, а потом сообразила.

- Тогда вы будете у нас отдыхающий! Вы же отдыхаете пока перед смертью? Значит, вы как раз отдыхающий.

На том и порешили.

- Поправляющиеся! - командует затейница теперь без сомнений, потому что все расставлено как надо, по местам. - Становитесь гуськом, друг за другом. Отдыхающий! А вы подвигайтесь, становитесь на линию, будете водить и ловить поправляющихся.

И отдыхающий Петр Евсеич Иванов становится водить на переднюю линию, чтоб как следует отдохнуть перед грядущей кончиной.

обстановка

Люди сами создают для себя обстановку, которая более им по характеру, хотя и не любят расходовать свою натуру на это.

Некоторое время своей жизни тратят они однажды на бега за столами, шкафами, кроватью и стульями. В это время они отвергают со страстью все то, что имеется в открытой продаже, кидаются в небывалые, отдаленные окраины города, в какие никогда не заезжали до этой поры, в какие никогда не заедут потом, но и там ни одна из вещей им не нравится настолько, чтобы жить на ней, возможно, до последнего вздоха.

Они встают рано утром и идут к магазину, из которого только и может им быть выдана обстановка - откуда же еще?

- Какие последние известия? - спрашивают они. И другие рассказывают им последние известия в делах обстановки.

Собираются списки. Проверяются списки, чтобы в списках оставить только самых достойных. Иногда неожиданно списки сжигают. Иногда поощряют безо всяких причин. Люди волнуются, люди обсуждают, они осуждают, они недовольны, бегут, шумят, стоят, отводят в сторону, им все удивительно, с ними это впервые, они грозят кого-то бить, донести, сообщить, разоблачить, предложить, указать, написать, поехать к самому корню, где ведают обстановкой, где заведуют дубом, где командуют лаком - но всё почему-то не едут, не едут.

А так как нельзя заниматься одной обстановкой, есть другие дела у людей на земле, то однажды берут наконец они ту, что им более

глянется из того, что дают, и начинают любить ее, какая ни на
есть, начинают любить беззаветно на всю свою жизнь.

СМЕШНЕЕ ЧЕМ ПРЕЖДЕ

ЦИКЛ РАССКАЗОВ

Жить стало лучше,
жить стало смешнее.
Из решений

I

персональный пахарь

Говорят, жил в районе нашей области один персональный пахарь. Якобы был он работником земельного хозяйства, на тракторе, но не упускал своего назначения личности. Трактор служил ему верным помощником, он просто чуть ли не на нем въезжал до самого последнего предела и оставлял, когда уже просто не лез ни в какие ворота.

Поэтому он очень уважал свой практически трактор, любил два раза в день положить свою руку на железную спину и проговорить из старой песни: "Мы с железным конем все поля обойдем!" Или что-то созвучное, не могу утверждать. Великий был пахарь, известный за пределы возможности. Пахал без усталости, вширь и вглубь, а также, кажется, от края и до края.

Чудесные молодые зубы, обут в сапоги, и от этих сапог исходит запах гуталина. В своих красивых губах он все время держит папироску, и приятный сизый дым шел от него в ноздри женского пола.

Прибыл в те годы в деревенскую окрестность некто Туркин. Прибыл, огляделся и говорит:

- Что-то небо у вас сильно сдвинулось на положение криво. А кто у вас, скажите, держит небо? Чтобы не упало и вообще от переменчивой политики погоды и климата?

Переглянулись деревенские и говорят:

- Да, вроде, никого. Может, конечно, и держат, но не в нашей деревне. Может, где повыше кто держит.

- Ну ладно, - соглашается Туркин. - Беру этот вопрос на свое разрешение. Вы, значит, будете работать, а я буду небо держать. Разделение труда.

Сел он на пригорке, начал небо держать: из расчета в час по трудодню - за ответственность. И за каждый белый облак набегает по дробу. А когда пришло время обедать и все уселись, чтобы съесть, как полагается, по труду от способностей, Туркин нагло лезет в две ноги с пригорка вниз, хочет отведать свое разделение. Но пахарь наш кричит ему с трактора (он и кушал на тракторе).

- Стой! - кричит. - Ты чего это делаешь? А кто же будет небо держать это время на уровне понимания?

Тот обратно заполз на пригорок, сидит: ничего не поделать с растущим сознанием. Сидел-сидел и придумал.

- Ладно! - говорит. - Ты мне будешь второй секретарь по держанию неба. Я тебе его на час доверяю, а после снова приму на себя.

Но тот не хочет.

- Где уж нам уж, - говорит, а сам прихихатывает. - Мы к самодержанию не приучены. Нам бы чего-нибудь такое вспахать.

Опять сидит Туркин, неотлучно держит небо, - а внизу диктатура аппетита народа. Кругом стоит питательный хруст, и по окрестности всюду пищит за ушами. Некто Туркин не выдержал.

- Ладно, - говорит он по-простому, - ребята. Я его маленько отпущу. Недолго можно.

Опять опускает с пригорка ботинок.

- Стоп! - кричит страшным голосом пахарь. - Гляди, как влево накренилось! Не пускай его, держи его, оказывай братскую поддержку, не сгибая усталость!

И остальные уже недовольны, глядят с нехорошим выражением, как не свои. Переживают за небо.

Этот некто уже сам не рад, уже не знает, как взяться.

- Да бросьте! - говорит. - Нельзя с таким увеличением думать про небо. До меня же, - говорит, - оно держалось? Держалось.

Деревенские чешут в затылочной части. Это у них есть обычай народа, когда ответ затруднителен в силу возможностей.

- Раньше, - отвечают, - может, кто-то держал, мы не знаем. А теперь ты принял на себя, и неизвестно: а коли там отпустили? Мы не возражаем, пускай разделение, но уж ты не ходи, ради Бога, держи.

А пахарь кричит, подбивает:

- Ой, - кричит специально безграмотно, - сейчас упадет и задавит мой трактор! И мои производственные силы погибнут во цвете!

Тогда этот Туркин велит звать жену, чтоб его накормила без отрыва от плана. Жена забралась на пригорок, ловя на ходу между пальцев траву, чтобы по-народному проверить: петух или курочка. Почему-то всю дорогу получался петух.

- Такое решение, - сказал жене Туркин. - Я, значит, небо держу, они пашут, а ты меня кормишь. Разделение быта.

Для нее, правда, всякое деление хорошо, лишь бы жить, где больше женского хлеба, где есть продукт и доятся коровы.

- Что-то мне сегодня петух и петух. К чему бы это? - сказала жена и погладила себя по хорошим бокам. - А небо разве надо держать? Небо - это твердь.

- Молчи! - приказал жене Туркин. - Никогда не включайся в теорию практики. Ты мне испортишь всё кормило.

Жена зевнула и включаться не стала. Покормив своего работающего Туркина, она спустилась с пригорка, обрывая отаву.

- Всё петушки да петушки, - сказал ей пахарь развязно, с мужским выражением. - Верно я говорю?

- Верно! - удивилась она. - А ты откуда знаешь?

Он захохотал, потом сплюнул вежливо в цветок и предлагает:

- Не хотите ли, женщина, прокатиться на тракторе?

Женщина, конечно, завлеклась, ей на трактор охота. И сели тут они на верную машину. И помчались. Жена хохочет, на стульчике вертится, от толчков вся волнуется, припадает к водителю, в общем - катается. А пахарь пустил направление по воле мотора. Сам до земли пригибается, хватает горстью траву - и всё у него в горсти курочки, одни только курочки. Некто Туркин - неспокоен у себя на пригорке, приплясывает. Деревенские смотрят, не бросил бы небо.

- Петух! - кричит жена, заливаясь.

- Курочка! - отвечает ей пахарь и чешет на полную.

Ну, и конечно, он ей показал, к чему бы это ей петух выходил целый день. Он развернул себя тут же, на полном ходу, не слезая с машины, и не худо развернул.

- Разделение труда! - кричит, и сам разделяет без усталости. - Одни небо держат, а мы, значит, пашем!

- Паши-паши! - кричит жена, забыв про Туркина, который был мастер держать только высь. Ну, и наш, значит, пашет на весь разворот.

Не выдержал Туркин такого примера, бросил небо и пустился за трактором вскачь. Но нет, не догнал. Разве пахаря догонишь в этом деле? всенародный умелец! Только доказал, что он при небе был лишний.

Потом уже, как ни просился он к небу - не взяли.

В тот период, на почве дальнейшей ревности пахаря, жена его часто вынуждала, чтобы он ее ударил, что с его стороны в конце концов нашло свою поддержку.

прочь от места катастрофы

Борису Вахтину

И надо же попасть на глаза ребенка такая страшная картина, уличного переезда после перелома буквально человечности. Не было слышно ни птичек, ни шороха, никого. Народ обступил, борясь с отвращением крови. Милицейские как с неба выпали, даже непонятно: если находились ответственно тут, то почему не отвратили из-под шин. Медицинские с воем пронеслись перекрестками, пользуясь обгонять, но все равно опоздали на жизнь. Страшное сейчас время, которое калечит механически души, шина, кажется, мягкая, но не удушает, рвет до кости. Моторную часть никто не осуждает, а ведущий сам вскрикнул и потерял действительность, будет долго выходить из учреждения власти на воздух. Много предлагали запретить владение, не умея массово ездить, особенно поперек друг друга, но строят новый итальянцы по миллиону штук с конвейера, некуда девать - такая опустилась генеральская линия. Не знаю, что тут сказать про женщину. В личной ей большее место, когда она особенно своя. Чужих пусть возят вокруг нас в ав-

тобусе: без них пусто, много воздуха, а он газовый, и без прижима, некоторые сами со страстью, но делают вид отвращения. А в мороз особенно желаешь прислониться, как писал Есенин, к мягкому, к женскому - не к мужскому же. Один у нас поэт, и тоже зарезали. Писал личной кровью, английская какая-то кровь была, из шеи, выходила сама, как народное сознание. Случайно вступил в политическую борьбу, всемирно-историческая Айседора раздевалась при народе за одно слово поэта. Называла Ивашечкой, но разошелся и шесть детей бросил как один. Ивашечка, то есть сокращенно русская национальность - всё больше сокращала как запанибрата с поэтом. Вообще иностранных мы не уважаем, кроме женского туризма. Особенно любим малые нации, даже без цвета кожи. Суоми с финлянского вокзала на выходной приезжают с пособием, возраст у себя на бирже не вышел мордой, и они не чают надежды, кроме наших побратимов. За так, конечно, никто не берется, языков ихних не знаем, а столичную можно принять в благодарность между народов за труд, но израсходовали всю для холеры, в Астрахани школьники подносили по домам для убеждения лекарства, а новая экстра холерность не восстанавливает, поэтому теперь разослали по всему государству, кроме мест опасности. На рупь приподняли, потому что для лекарства холерникам сбавили на примерно эту сумму, но в газетах не извещали: не манить нас в болезнь эпидемии. Распределили тяжесть поровну с больной головы на здоровую, финские тоже несут удовольствие за Керчь, Одессу и Астрахань этого года: то же самое им бьет теперь с копейками рублем, с небольшими. При наличности, правда, этот рупь вынимаем и сами. Для заграницы такого найдется, я достаю из широких штанин, говорил Маяковский, у советских собственная гордость по этому делу. Один был поэт, фигурально восьми пядей во лбу, выше всех писателей, посмертно восстановлен в живых за отсутствие состава. Я, говорит, разбился, быть или не быть, и я всю жизнь любил втроем одну женщину, а водку ни за что. В Москве теперь памятник, выше всех писателей, облако в штанах, а живого нигде нету, хотя цыганка нагадала 76 лет без одной седой морщины. Осталось сказать про евреев. Есть, конечно, генеральская линия, но сами виноваты. Сталина отравили по делу врачей культа личности, а он им плохого не высказал, сам грузин с диких скал осетина. Нам приходилось достаточней хуже, но мы терпели, как до отмены Бога и Святого Духа, и посмертно вздохнули невинный период, так что евреям большое русское спасибо, но только проживающим в нашей стране, хотя противные бывают рожи, но не все.

МОЙ ОТВЕТ ГОГОЛЮ

Не будет преувеличение сказать, взять к примеру жену. Требуешь по загсу почесать спину, вызывает неизменный отпор. Чешет, отвратясь, с дурными разговорами и дерзко, предлагая жениться на щетке - уши вянут. Как известно, они ничем не закрыты, нет еще в природе ушного кожного века. Не приспособлена женщина теперь к семейной жизни, не учат в школе. Одна особа, которую люблю кроме брака, сказала в припадке откровенности: сейчас в школе разрешают носить на себе всё, что вырастет, без проверки. Не учат даже в газете, органе ЦО, как выполнять супружескую верность. А когда-то собственная бабушка могла годами чесать мужу спину без ропота.

Прочитал статью: нам нужны обязательно гоголи. Думал, про костюм современности моды, но нет. Какой-то гоголь выдавался сто с лишком лет назад, обрушилась волна народной любви и ликования. Нам это устарело, буквально только для книжности. Гоголи ходили в высшем классе, у нас демократически называем стилига, а по-молодежному "попс", нецензурное слово одежды. Полностью отрицать нельзя, одежда имеет большую внешнюю организацию. У нас на работе был венгр, из венгерской страны, а совершенно невоспитанный вежливо. Кусает пальцы за ногти кривыми зубами, потом дает руку: пожалуйста здарсьте. Я не брезгую его нацию, а такую руку брезгую. Но пиджак у него каждый день заграничный. Теперь и мы догнали душу населения, гражданские так надеваются, не хуже министра. Выйдешь в воскресенье: костюмчик швейного пошива, пальтецо с отворотом, а поверх всего зеленая шляпа лежит. Чем не венгр, несмотря на цвет крови. Без этого не можешь заговаривать, женщина озверела от стыдливости. Даже особа, которую люблю кроме брака, - только при таких обстоятельствах. За ней ходили двое, Шурик и Юрик, студенты. А со мной познакомилась случайно: потеряла кошелек, принимал участие в сохранности вещи. Шурик и Юрик никогда не устоят, она меня отметила в своих глазах, хотя кошелек всего на два с полтиной. Вечером гуляли вдоль окрестного населения. Несколько слов о себе, сказала она честно, потом прижалась ко мне, и мы забыли сознательность прямо на улице.

Она постоянно говорит: хочу быть всегда с тобой. Как бритва "Спутник". Но я не могу, по независимым обстоятельствам: после

свадьбы кулаками не машут. Жена тоже не виновата. Она была молодая, акт совокупления мы сделали, ну что же после? Женились, стали жить дальше, а дальше некуда. От возрастаросло много дикого мяса и стала недоступной нормальному объятию мужчины. Врачи говорят: не нарушайте порядок пищи. Но, от примеения, в ней происходит только хуже.

Видел статью: "К больному пришел библиотекарь". Я понимаю почин изменения, кадры решают всё, раньше приходил врач квартирного вызова. Но, вероятно, течение к лучшему: нас обслуживал доктор, он полковник отставки и не знает структуры этой работы. Ни на одну болезнь не мог ответить, говорил: определяется ролью случайности. Да этого не может быть никогда в нашем обществе! Я проезжал один раз в такси через город, безжалостно, с той особой: все общежития славили партию, она не допустит разложения болезни.

Прочел статью: единица куется в бою. Не понял, просто не понял. В нашем бою кувались сплоченные массы. Автор спешит зарабатывать рубль, не дойдя сути смысла. Захотелось признаться в самом тайном: мечтаю полежать рядом с молодостью... вспомнить опасности. Теперь я уже не военнообязанный, пускай Шурик с Юриком, я уже ничем не обязан войне. Но губы еще как резиновые, единственно этот зуб наверху. Он уже не соответствует надкусу, нижний под ним удалили навечно, поэтому его надо чистить. Хотел небольшую шерстяную бородку, одна беременная супружеская пара не советует: будешь целый день в работе по своей персоне. От работы конидохнут в нашей действительности, но особа, которую помимо брака, очень просит. Боюсь, что не устою: в этом моя слабость.

Прочел статью: театр идет в разведку. Он идет, чего-то ищет, кругом шпионская опасность и рабы капитана. Написал письмо протеста: руки прочь от одной шестой части суши. На всякий случай. Когда я принимал участие в сохранности вещи, письменность во мне была лучше. Рука привыкла делать железную деталь, хотя не часто, не на такого попали. Специальность наладчик, но устроился нормально, больше сплю - работать надо по мере, за те же деньги, правда, спать тоже вредно: затекание органов. Одно удовольствие во сне, что может присниться, чего наружи никогда не дождешься от власти. Но приснился страшный сон: царицей мира будет труд! Из этого сна вышел с одним только словом (привести не могу). Разбирали вчера бытовое, на узко закрытом собрании. Обидно - поче-

му не пригласили. Тоже хочу знать, в каких сочетаниях живет друг с другом коллектив, потому что он мой. На душе было пусто, хотелось чего-нибудь поесть взамен обиды.

Прочел статью: где ищет нобель какую-то премию. Думаю, что это опять тот же гоголь, только буква переменялась - сто с лишком лет абсолютной эпохи. Конечно, опять за границей, но теперь устроился у шведов (забыли Суворова). Ищет премию, никто не дает, кроме наших тунеядцев. Нашелся один длинноволосый, Салажонкин, но самому жрать нечего. Подрывает устои, которые не подрываются хоть лопни, с каким-то вместе с Андреем Жидом, продались фашистам, но заговор обреченных. Только не понял новую установку: раньше жида называли сокращенно евреем. Неужели изменения, а я оказался посторонним, хотя читаю газеты, слушаю радио. Раньше еврей с фашизмом не состояли, у них было уничтожение, даже в войну с евреем ходил на задание: в тебе, говорю, уверенность, немцу не сдашься - невыгодно для жизни. Но теперь еврей, говорят, стал фашист, а арап, наоборот, перешел в нашу веру: по-моему, достижение небольшое. Этот Солоницын вызывает специально реакцию, прямо из Москвы на реакции пишет жиду и через шведов посылает нашу тайну заводов. Одно непонятно: реактивная авиация влетает в Москву, столицу нашей родины, город-герой имени ордена Ленина, а где же спит зенитная батарея? И еще непонятно: зачем расстраивать население, напрягать после рабочего дня - дань дикости и невежеству. Расстрелить этого Солонухина по высшей статье, а жидов мы потерпим, - Боже мой, от них вреда немного, кроме пользы, это пустые разговоры. Еще одно предложение: водка должна стоять без делимости на число три: чтобы не пили втроем, пили врозь.

При чтении газеты на стенке, мимо прошла молодая, платье буквально ни до чего: отдался бы без звука. Я, собственно, всю жизнь без ума от блондинок, на этом умру. Одно слово: блонда хара! Это не по-нашему, это по-французски - вот язык женственности!

ПОЗОР НА ВСЮ ЕВРОПУ!

ПИСЬМО В СОВЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО: ПРОШУ ПУСТИТЬ НАЗАД ОБРАТНО

Попав по глупости в страну капитализма, европейский Париж, но всё гораздо слабее предварительных жалоб. Это разве Европа? Даже хуже, чем мы - объясню, почему.

Основной закон капитализма: кто не работает, все равно тоже ест, хотя бы мало. С голоду здесь никому не пропасть, да как же это так? Мы поголовно боролись за вредность, часть населения гуманно умерла своей естественной смертью от насильственного голода нашей страны, и это верно: победил закон социализма во взятой стране.

В метро Парижа лежит на лавочке, ночует под мостом, из горла льет свою бормотуху, национальную по форме ее содержания, портянка западной моды, но сам алкаш родного вида, как будто не я. Местное название "кошмар", дамы воспитания везут под мост ему суп, но никогда не забрать в вырезвитель на желтой машине. Спрашивал: местный язык это слово никому не переводит, хмелеуборка не пришла еще в голову целой Европы. "Кошмар" принимает их суп в воскресенье, но даму очевидно отвергнет, а ей, может, хочется, среди ее скуки счастья.

Пьяного все уважают, просто даже противно, считают, это не страсть, а только временное засорение личности. Но на троих никогда не берут, и нету искренней дружбы, сложилась двадцать долгих лет у ворот магазина.

Водка, наоборот, гораздо лучше нашей, и кто хвалил нашу русскую, то чтобы нас не обидеть: похвалить больше нечего в нашей действительности. Гонят из малины и другой невинной ягоды до прозрачной слезы, но даже плакать забудешь родную калину. Если добился признания общества как алкоголик своего нетерпения, аптекарь подносит самый чистый продукт, за одну французскую копейку полстакана. А селедка все равно из Советов, далеко не уедешь. Я зачем сюда ехал? чтобы бегать за советской селедкой? Не знаю! Эх, капитализм, стоит тыщу лет, а не сделал ржавую селедку...

Что сказать о разврате? Как сообщал Маяковский из Парижа: кричали женщины ура и в воздух лифчики бросали - нет, такого не видел. Ожидая большую порнографию жизни, на самом деле нет. Женский человек проходит гордо мимо, не вляя задом, и на улице нигде не гремит легкая французская музыка советских композиторов. Часто видишь на виду населения, двое обнимаются нестрастным поцелуем. Да у нас не дойдет до милиции, три пенсионерки сразу заключают примером строгой юности своей комсомолки, которая сама же отдавала поцелуй за твой стакан воды, мы читали. Здесь, увы, равнодушие каждой старушки, тогда зачем целоваться? Бабушки катают детей по садам Люксембурга и сами не против сорвать поцелуй за-

лежалости, в нашей действительности бабушка уже давно комсомолка двадцатых, и некому спеть Маше с Ваней про козлика. Поет один поэт, буквально дядя Степа - Маша с Ваней еще без очков, мама ходит с авоськой, папка с работы приезжает на бровях, тут и пригодится старинная бабушка, но - самое большое увы! - уничтожена как класс за некультурность. А дядя Степа что, он тебя все равно в свой верхний класс не научит, он глядит, чтоб ты сидел у себя и возникал, когда позволят.

Классов в Европе давно уже нет. Флик, то есть наш милицкий, подходит к тебе, улыбаясь в мустах, даже если на тебе штаны с прорухой. А кто едет в черной машине, тебя не давит, сиреной не глушит, делает ручку: пешеход, проходи! И войдешь к нему в контору, ты не класс, а посетитель, тебе же большое мерси за спасибо. Классы остались исключительно в метро, но за класс тут приходится много платить. Нашим же классам, наоборот, еще доплатит всенародно рабочий с крестьянкой.

Голых женщин нигде не видать, это нежная сказка, в рекламе одна обнаженная грудка, к которой завтра же привык, разврата в этом мало. Вместо разврата у них растет секс, что в переводе значит "шесть", у нас в организме никакой такой шестерки просто нету. Даже блядь безалкогольная, на работе не пьет, деньги просит сначала, по истечении чего все восторги упали. То ли дело у нас: после семи, когда закрыт магазин, распахнешь пальтецо, показав ей блестящее горлышко, все желания выполнят. Да просто наша душа не выносит, если женщину надо об этом просить: а ты меня сама догадайся!

Не скажу уже о том, какой увлекательный секс-жоп в нижней части организма у наших славных девушек, по сравнению здесь.

Винную бутылку тут никто не сдает, и в трудную минуту жизни не на что опохмелить свой черный день.

Черный цвет вспоминать при народе нельзя, может обидеться на всю Европу негр, надо звать африканыч и не отворачивать личико по мере невозможности от его шоколада. Какая же это, простите, Европа? У нас давно коминтерн: они нас уважать должны за то, что мы их терпим.

Нация тут у всех одна, включая упомянутого негра, но на свет всё же видно, и они добиваются равенства кожи. Одна надежда: медицина прогресса. А который еврей, никогда не узнаешь, буква "р" у всех хромая, как кремлевский мечтатель, слово "братство", например, то наша девушка скромности должна отвернуться. Но вино-

ват здесь во всем не еврей, как у нас, а испанец наряду с португальцем - и конечно, арап, но из-за культуры вам его не скажут.

Вообще не доверяйте язык иностранца: увидел слово "сортир", приняв за чистую монету в углу коридора, получился конфуз: французским, видимо, можно, но для нас только выход. Неприличного слова никогда не добьешься, даже если тебя посылают, но только так, что можно завтра напечатать в передовой статье газеты "Правда".

Но самое главное, здесь отсутствие равенства, к которому привыкли мы, в стране свободы. Взвод равенство направо, в цеху равняйся на маяк, хотя бы этот маяк продал вчера родную маму без закуски. Даже в руководстве совершенное равенство: вчера равнялись по кремлевской бородке, лежит в гробу мавзолея, диктуя всем подземными путями, сегодня, напротив, на усатого дядю. В Европе равенства еще не добились, ожидают наступления всего коммунизма, у нас давно уже кончился, даже дети смеются, а если спросишь на улице, то могут плюнуть слюной в остаточный глаз. В Европе каждый равен сам себе, и если ты ноль без ответственной палки, тебя никто не боится: как же из этого сделаешь равенство?

Чего не мог представить раньше: даже в Европе имеется погода климата с каждого неба. Погода есть пережиток социализма в сознании Бога и на западе быть никогда не должна! Вот когда к вам придет наше светлое будущее, дорогие товарищи, тогда я согласен слушать гром среди ясного неба Парижа. А пока - извиняюсь, пока иду кольцом больших бульваров и не хочу даже слышать в нашем городе дождь, в нашем городе снег. Требую срочно отметить погоду надо всем культурным западом. Это влияние близкого соседства, свет с востока, но прошу никогда не забыть: человек человеку друг и товарищ волк!

Не укради!

ИНСТРУКЦИЯ БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ, СЫНУ МОЕЙ СЛУЧАЙНОСТИ

Если захотел игрушку детской техники, чужой равноправный ребенок играет, у тебя вожделение: не укради. Проси временно, проверь свое чувство: а может, скоро охладишься. Лучше привлечь для обмена ненужную собственность, оба хозяина получают новую вещь и процесс справедливости.

Если в соседней квартире лежит разменная мелочь в беспорядке соблазна: не укради! Это чужое, за него человек отдает каплю жизни.

Когда в пространстве улицы лежит в пыли государственный банковский знак - подыми. Но оглядись, не бродит ли где посторонний с опущенным взором. Это потерпевшая личность, и совесть не даст потом счастья за чужое съеденное горе. А вообще потеря есть народное добро, найди и пользуйся как представитель.

Гайка, крышка, блестящая деталь, труба, доска или винт, без охраны ввинченные в город на общественном месте - всегда твои, но не забудь соображение: если без этого трамвай соскочит с закругления рельсы, если свалится дом и убьет твою мать - то не надо. А если хлещет вода, это пусть: скорее сделают и новое на такой видный случай.

Не трогай телефон-автомата и друзьям объясни: это опасно нашей жизни. Твой отец видел фильм, там навеки умерла полезная, толстая женщина, не было откуда вызвать помощь укола, кругом поломка автоматов по вине нарушителей.

У личного народа не укради, а у государства бери всегда и всё, что можешь: сколько раз увидишь, столько возьми, это наше. Опять соображай своей мыслью: государство хитро приставляет для ответа небольшую народную личность. Если дворник или сторож, его не подведи. Когда ответственность начальства, то сам Бог тебе велел, они всегда договорятся на акт расхода для нужд экономии. Торгового работника никогда не жалеи, он развернется, при нашей малости, какую украдем, это только закваска, на ней взойдет, как сдобная опара. Особенно нерусский народ, он не понимает разумное хватит: еврейчик, цыган, татарчонок, кавказская нация в кепке, не знаю северный народ эскимосок, врать не буду.

Где сам ответственным лицом за материю, у себя не укради, в соседнем месте лучше. Конечно, можешь, но это целое занятие жизни, нам не по характеру следить ежедневно исправность баланса входящих. Вообще не советую должность начальства: это в нашем мире хуже честного вора.

Что можешь на службе государства съесть в себя или выпить на ход ноги, то это сделай: обратно никогда не отнимут и вообще упрека нет, поддержание жизни.

Украсть лучше много, чем мало: крупное всегда у народа в почете, мелкое содержит презрение жалости.

Не будь придурком честности, когда тебя не просят. От разделения труда уклонись, если можешь. Бюллетень недомогания у врача возьми всегда, дать обязан, организм в нашей жизни всегда ущемлен, пускай найдет больное место, медицина содержится нашей

копейкой. Когда сумел, то минуту поспи, а лучше час, а лучше день, вместо непрерывной работы, и это не кража: эксплуатация труда в одиннадцать раз выше получки зарплаты, еще останется за ними. Но на субботник всегда выйди первый: это политика, и даже лучший друг не одобрит, он явился, а ты пренебрег, как нерусский. Смирись, гордый человек (прочел в одной книге искусства), лучше потом прогуляй хоть три дня по неизвестной причине похмелья, которую все понимают, но только до седьмого раза повторения.

Но если ты залез в карман гражданина и пассажира, то последняя сволочь. Может, у него остаточная сумма заначки и нет возможности на пиво.

Не скажу ограбь, но и не ограбь не скажу также, при наличии друзей детства могут завлечь. Тогда выбирайте состоящих в местных органах власти: наружность толстая от объедения жизни, квартира имеет четыре замка. Все-таки лучше не ограбь, помни, это нам подстроено: государство специально тычет носом, чтоб не брали у него, чтобы взяли у ближнего. Хотя попадешься, то вынуждено дать на всю катушку.

Никогда не укради, если слабее тебя: это нехорошо.

Женщину лучше используй, в крайнем случае, по прямому назначению насилья. Никогда не отними украшение вещи, одежды или стоимость денег. Наоборот, по окончании отдай ей подарок за продукт удовольствия, однако если имела желание, тут полный расчет.

Какой материал или вещество лежит без присмотра, возьми и дома сохрани, пока взойдет она: звезда пленительного счастья. В государственном виде все равно пропадет и развеется ветром.

Военную технику не тронь, хотя бы валялась, крепи оборону страны, тебя же запросит о помощи в трудном случае катастрофы.

Неизвестную химию, лежит или в бутылках: не укради! Можешь обкушаться сам и семья ближних родственников. Также не укради золотое изделие государства или другой металл драгоценности: это высшая опасность политики, ее сердить не надо, ударит большим криминальным законом. У населения, наоборот, это самая легкая жалость пропажи: предмет второй роскоши.

В других случаях, кроме вышеперечисленных, можешь немного украсть для пользы семейства, оно есть ячейка прочности нашей страны, весь народ приворочивает, от мала до велика, от южных голых скал до северных морей, и мы не хуже.

И помни: Россия такая держава, что если ты сделаешь грех воровства, другой взамен тебя отдаст последние штаны напрасной

честности и будетдохнуть голодом перед лицом горы общественно-го хлеба, который все равно сгниет без достаточной пользы. Не смейся над таким, в нем, может, не глупость, а твое искупление. Как говорили старинные урки: пред народом виновен, перед Богом я чист. И это лишь благодаря арифметике разных характеров одной шестой части исторической суши.

II

появление автора в письменном виде

1

Я не выдержал и решил появиться в моем личном творчестве. Никто не может мне этого запретить, да, не может.

Письменность стала чистейшим обман. Она пытается скрыть, что она письменность, что ее, значит, пишут. Она притворяется действием, она хочет впрыгнуть в нашу голову сама собой, через глаз, и там притаиться картинкой из памяти. Письменность прячет в карман свою буквенность и выдвигает наперед свою строчность. Строчность роднит ее с телевизором. Каждый роман спит и видит себя на экране. Кто теперь читает буквы, кто видит слова, кто наслаждается их управлением? Все глотают страницы, пожирают абзацы и уже на кончиках ресниц превращают их в кадры.

Кина не будет, мои дорогие друзья!

Придя домой, письмо было получено. Придя домой, письмо быть полученным очень старалось. Оно хотело быть получено мной от меня самого, письменное этакое письмо, в небольшом письменном виде.

Придя домой, письмо получено не было.

Несколько минут находился во власти молчания.

Вдруг неожиданно в воздухе почувствовалось смутное беспокойство. Посмотрев в зеркало, я увидел в зеркале отражение своего вопросительного лица. На лице отражался вопрос моей жизни.

- Вот здорово! - вырвалось у меня восклицание.

Запустив руку под шляпу, я зачесал свой затылок. Это была моя привычка - чесать свой затылок, когда у меня возникал вопрос и когда ответ бывал затруднителен.

А вопрос возникал такой: как надо писать, как писать дальше. Запустив руку под шляпу, которой у меня нет, - то есть шляпы, а рука пока что есть, пока что мне приветливо ее не оттяпали, я зачесал, как вы знаете, верхний затылок. Это была моя привычка, и я чесал свою привычку три года без малого. В привычке редели волосы и стирались грани между умственным трудом и физическим городом и деревней. Изредка я вынимал мою руку из привычки, чтобы начертить безмятежные рецепты для младшего возраста от всея педагогики нашей страны, чтоб вложить за экран героический дух, расписаться на ордере или повестке. Потом я взялся за перо двумя руками, чтобы продолжать делать письменность. Я взялся руками, но тут вышел стоп.

Тот, чьи буквы не влазят в печатный станок (а это так, что же делать, они у нас какие-то такие не такие), тот привык орудовать тем более пером. Я изучил перо насквозь, я знал его нажимы, росчерки, темные кляксы и блестящие стороны, зовущие впродолжение. Я знал, когда оно будет царапать бумагу, и я миновал, чтоб царапать бумагу. Когда же оно разгонялось от гладкости - от гладкости кончались чернила в перо.

Но теперь повсеместно перо переделалось. Оно перестало быть чернильным, заостренным, оно в каждой третьей держащей руке заменилось на шарик. А шарик - известное дело - он круглый. Он не стойт, а стойкость дело нужное в деле пера. И вообще, в нем есть что-то собачье, он сучьей породы, тогда как в прежнем перо было слышно крыло.

Приходилось заново учить круглый шарик, не умея нажима, чтоб нормально писать безо всяких кино.

Я начал, и шарик покотился псу под хвост:

"От топота ног стоял шум и летела пыль..."

Какой шум? Зачем летела? Ах, я хотел что-то такое, что-то здакое! чтобы мысль летела. Я не хотел полета пыли, так как не было топота, не было ног; не было ног - не стоял шум, шум не стоял - не летела и пыль, которая летает от действия шума, вернее, действия топота, а точнее - ноги. Всё наврал проклятый шарик. Писать надо было не так.

Писать надо так, чтоб в квартире было тесно, а мыслям просторно. Писать надо так, чтобы слов было мало, а листов было много. Писать надо экономически. Один писатель советовал мне пи-

сать просто: взошло солнце, и запели птички. Он так просто и писал, хорошо писал, жаль, что несколько повредился в уме.

Я затопил печку. В печке царила атмосфера взаимности. Я оглянулся. Жизнь проходила в обстановке причинности. Я сел за стол и писал и глядел на себя, на письменного, в малое зеркальце. В зеркальце я отражался, что пишу и гляжу в зеркальце. Везде у меня отражался вопрос. Ответ не отражался нигде. Писать надо так, писал я, глядя в зеркальце, чтобы вопросам было тесно, а ответам не было мучительно больно. Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать. Но хорошо писать бы так, чтобы не очень навсегда пострадать и вернуться.

Писать надо так - но писать надо не так.

2

Кто диктовал мне, письменному, кто диктовал мне из малого зеркальца? Литература желает сгустить следы пребывания на земле человека. Она рвется дать путеводитель по вселенной - от Москвы до искривления мира и взад. На том ее и ловят, родимую, на том и улавливают. Она старается усилить значение каждого шага, - а шаг наш значения имеет немного: не более метра в длину по земле. Она соединяет вчерашний обед и сегодняшний грех на соседних абзацах - и меж них не пролагает расстояния духа. На том ее и ловят и тащат в свое мозговое кино, ибо это кино есть защита от духа.

С полным весельем я заявляю: кина не будет, мои дорогие советские друзья! Кина - которого я очейю люблю, и друзья, - про которых я рад, чтоб читали меня повсеместно внутри рубежей; но меня повсеместно никак, не получится, ведь станок гутенбергов, как заметил поэт, для нас для всех не годится, а других не дозволено.

Кина не будет, будет слово, как всегда было слово - и это просто даже несколько странно, что забывают. Сперва было слово, а после его написали - ведь так? Писать надо просто, вынимая слова из алфавита, которые все уже есть до единого.

Писать надо так, чтобы сразу написал и, тепленькое, едва успев запятые, сдал в историю. Писать всего полезнее вообще на скрижалях. Скрижали выдаются в литфонде, по два кило в месяц на душу писателей. Души, конечно, сверху не видать и даже алгеброй - если разъять - не поверить. Но у каждой души из души растет нос, как известно у Гоголя. Так что чаще принимают, для удобст-

ва статистики: мол, по два кило на нос, за умеренный рубль. В общей продаже скрижали отсутствуют: либо слишком толстые, а то просто дрянь, папиросные и вообще неформат. На таких в историю не войдешь.

Правда, писать на скрижалах не просто. У них, проклятых, качество - видимо, финские: что и написал пером, того не вырубишь топором. Но все равно, поворачивать поздно, захожу в историю. Цветы, кругом цветы - тридцать пять тыщ одних цветов.

Цветы - это дети нашей жизни, они приходят к нам пахнуть.

3

На одном конце города есть Гулярная улица. По ней гулял Николай Васильевич в своей критической шинели, из которой все вышли, но в которуюходишь, озираясь, как в дом. На другом конце, напротив, есть Трамвайный проспект. По нём никто не гулял, по нём никто и трамваем не ездил - там трамвая не сделано. Но везде, куда ни кинешь взглядом, на нем видны следы прогрессивного человечества. "Идя в наш кинотеатр с цветами, вы можете оставить их у администратора, который поставит букет в вазу с водой и вручит его вам после сеанса ничуть не увядшим." Какая огромная, какая наша, какая забота о человеке! - Правда, самого прогрессивного не видать, одни следы. Они ведут в будущее. Будущее начинается сегодня. Завтра оно уже будет, оно грядет к завтраку. Все человечество обожает кушать завтрак. От хлеба пахнет сытностью, от масла оптимизмом. Это аромат грядущего. Тоска от лука, съеденного на ночь, после завтрака переваривается, не доходя до автобуса. В автобусе все везут завтрак на рабочее место, даже два - так повелось среди класса трудящихся: один, поменьше, в животе, безмянно, а другой, большой, под мышкой, на виду, напоказ.

Особенно вез завтрак один пассажир. Он весь обчитал его за время дороги. Следы времени с обертки перешли на лицо. Рот у него был закован в железные зубы, а лицо было особое лицо государственной важности. Чтобы завести себе такое лицо на лице, надо многие лета занимать себя чем-то вверху, у кормила - чем они там занимаются? Но как потом снова дойти, чтобы ездить автобусом, вот что неясно. После бритья он освежал себя какой-то туалетной водой парфюмерной торговли, от которой несло сыростью, мокрицами, глубоким духом влажного мороженого мяса. Хва-

тит терпеть насмешек и пренебрежения, - говорил этот запах с оттенком угрозы. Хватит терпеть, пора назад к кормилу.

В природе была погода.

Висел плакат: "Хороший человек украшает природу". Я оглянулся. Украшая, он шагал. Он шагал через улицу, не считаясь с опасностью, не страшась усталости. Все остальные страшились усталости, кроме него, хорошего человека.

Уставя пальцем в живот, жена удерживала пьяного на тротуаре от падения. Обмякнув, он качался на этом жестком, ненавистном, указующем пальце, как привязанный, напрягаясь, чтобы оторваться и грудью упасть на мягкую, привычную землю, чтоб украсить собою природу - и не мог.

У памятника, приданного площади в награду за историю, как раз сегодня был день рождения. К нему пришли поговорить о своих делах пионеры. Памятник слушал их медным лицом, напряженно, и всё указывал вперед, всё вперед, на газетные стенды.

В газете были две печатные статьи, обращенные руководством к самому себе с укоризной: "Работать на виду у масс" и "Быть человеком". На виду у масс человеком работал лишь памятник. Это было его загробное поручение.

Бежала женщина, у которой свои законы. Подберет на себя всё красиво, всё в тон: сумочку, туфли, перчатки, чулочки, - а сама торчит из них, другая-другая. Она торчит, дожидается, пока ее вынут, как семечко. Вынуть трудно, но можно, надо только уметь. Я притворился, что влюблен, вы притворились, что стыдливы, как сказал поэт. В общем, можно.

Памятник грустно загребал рукой к женщине, словно собирался доплыть к ней по воздуху, но потом передумал. Он хотел равную, медную бабу со стажем. Хотел отгрохать с ней набат на всю ноченьку. Памятник помнил: ему обещали. Ложись на горы алтайские, берись за колокола китайские - или как там записано в решениях съезда?

Вышло вечером слабое солнце, и жить стало лучше, жить стало светлее.

На руке у постового показалась наколка. Она звала к диалектике. По ней было видно, что он из преступных переквалифицировался в кварталные. И это есть отрицание отрицания, это смерть зерна и жизнь зерна сразу. В общем, хлебное дело. Надо рассказать об этом зерну.

Военнослужащие и дети их семейств гуляли по бульвару, заходили в зоопарк. Звери развлекались от своей трудной жизни, на-

блюдая старших, сознательных братьев и дрессируя их назад в духе прошлого. Звери знали: идет взаимная жизнь, скоро ужин. Люди смотрели свысока: они открыли дверь в будущее. Они молчали, что открыли ее ногой.

У входа в зоопарк лежат опилки с дезинфекцией для нашей ноги, чтобы демократия с зоологией не могли перепутаться. Входя, оставляли болезнь на опилках. Отряхали звериные инстинкты, возвращаясь обратно. Отирали след свершений с гражданской походки, направленной в сердце животного мира.

Зоопарк готовится к юбилею. Состоится большое народное гулянье на тему: сто лет в клетке. Подумать только, какой срок! Ни бык, ни лев и ни орел - да что там говорить! - даже революция не принесла им избавленья. Они должны свершить ее сами, свою, звериную революцию - но не желают.

Лучше жить стоя, чем умереть на коленях. Сидя жить лучше, а еще лучше лечь. И это будет пассивное сопротивление. В дружном порыве лежал зоопарк. Он глядел на меня - и не видел меня: я был в письменном виде. В письменном, роскошном по сравнению с жизнью, без пота, без пуза, без дыха, без храпа, без того натяжения в причинных местах, что мешает видеть дальше, чем собственный так называемый нос. Я был в белой рубашке, хрустящей, как рубль - трудовой сберегательный рубль из сберкассы, вложенный мятым, возвращенный обновленным, что и составляет государственный процент благодарности. Но меня в этом письменном виде заметить нельзя: отражаю сознание. Я же, сам, могу выглядывать что захочу - на уровне письменности, знаете ли, многое виднее.

4

Вот, например, прорвалось: ни бык, ни лев и ни орел - и это совершенно не напрасно прорвалось.

Это пишется полной заменой по животному Брему известного пения, когда все встают. Ибо, во-первых, бык прекрасно замещает тут, кого замещает. То есть не то чтобы бык это Бог, несмотря на фамильность, в одной только букве, а вторая разнится случайно на письме. Это лишь в могучем и великом языке, но в британцах, возьмите, - то созвучность намного другая: "Год" - "дог", то есть с кобелем, прости меня, Всеблагий; впрочем, зверь тоже ярый, когда он восхочет (или как там пишут по Донам - если вскочет? если не захочет, то не вскочит? - надо бы спросить того, в станице, где он требует полезно не пускать других к перьям, что-

бы не могли разобрать в сучьих тонкостях вместо него). Но если вспять повернуть, в гордый Рим, то и снова появляется животное бык, на пяти своих ногах в латинской фразе, где ему дозволено менее бога, - то есть для божественной пятой ноги все открыто, не то что для бычачьей. Конечно, бог это был ненастоящий, несто́ящий; млекопитающий, можно сказать, это был всего бог. Но и в данном, освободительном случае мира, довольно, право, такого, малого, вождя по жмыху и жвачке, приравненного к бычьему классу трудящихся - на одной трудились ниве, молочные братья.

А лев - он царь, он безусловный равноценный перенос туда отсюда, по всем легендам и басням обоих народов: нашего, демократического, и, значит, их, ветеринарного, или как его там. Ибо не только у людей говорят про льва царь, но и соответственно в баснях звериных крылопов, ежели хотят сказать: верховный подлый лев - но боятся, то и намекают через нас, что, мол, всея самодержец или секретарь эпидемии всего человечества. Басни ходят сквозь опилки, не страшась дезинфекций.

Последнее же ясно и в ясности просто. Орел - то есть в нашем вставаньи герой. Они летают в хищном небе государственным лётком и садятся на свои плодородные яйца исключительно в горных районах страны.

5

Вы просите песен? Их есть у меня - как сообщала в романсе семиструнная бабушка. Не пора ли засесть за письменный стол? Роман о более бережливом отношении к видам дубов. Основные мотивы романа: лес, подлесок, чапыга, болото. В лесах развелась живописность: воронко, кречет, кочет.

К письменному столу надо в очередь, как в бакалею: "Я отойду на полминуты, а вы скажите, чтоб меня не возражали".

Писать надо так, чтобы писать.

Писать надо письменю - и немного печатно.

Книга начинается, здравствуйте: фальц; киига продолжается, пожалуйста - шмуц. Я абсолютный противник сторонников.

Нет, я не прошу свободу слова - мне, напротив, не надо, кроме того, у меня уже, кажется, есть. Но я бы хотел, вместо этого, хотя свободу буквы. Это сугубо специальный вопрос, не все знают: на письме нужна буква. Букв становится все меньше. Не говорю про опасную ижицу или фиту, нет, таких надо было убрать,

они мешали лучшей жизни, но вот, обратите внимание: Ё. Очень перспективная буква, много лучше доносит. Открой любую книгу - ее уже нет, то есть она в скрытом виде, в подтексте. Конечно, там ей гораздо свободнее чувствовать, и даже большой артистизм догадаться. Но я просил бы для себя эту скромную букву - даже согласен, чтоб вместо аванса. За что лишили нас ее? Конечно, это экономически, всё надо экономически. Я понимаю, гутенберг должен вращаться с максимальной точки зрения - но машинка? В моей машинке я напрасно ищу десять лет букву Ё. Не хватает, чтоб ее не оказалось и в ручке, а это просто, возьмут и вынут на заводе, им что. Могут даже вынуть из мясной твоей руки при рождении в жизнь, и тогда уже обратно не вставишь никакой эволюцией.

А всего-то незаметно приставить две точки - и она возвращается. Точки, поставленные над ё - сколько смысла! При помощи точки мы вернем свободу буквы, а возможно, и слова, которая, правда, у нас уже есть. Например, многоточие - что за возможность! Заменяет какие угодно слова.

В этом отношении шарик полезен: он умеет ставить точку.

Шарик, шарик! Ко мне!

Слушается.

"В природе была погода". Ничего лучше этого я не писал. Какая простота! Какая сочность! Это еще ждет своих исследователей. И главное, заметьте: написано шариком.

6

Точка. Много точек. Нет, не торопись стяжать дары печатности. Живородящий гений, знаете, ничем не удержать.

ТЯНИТОЛКАЙ

ПОВЕСТЬ

1

И вот проснулись мы все уже в новом году. И побежали тотчас звонить, сообщать всем об этом — о том, что проснулись, и о том, что именно в новом году.

А что такое новый год? Это бесконечное продолжение старого, отделённое голосом радио, чтобы было удобнее числа считать.

Народ, которому радио громко объявило новогоднее время — а не объявило бы, то продолжался год старый, — народ поголовно куда-то поехал, встал на остановках, подталкивая в спину, вперед своих жён, направляя их в транспорт.

В лесопарках всё так же забегали люди, обутые в лыжи, размахивая острыми, опасными палками, мелькая веселыми лыжными нарядами в трех соснах.

На площади фигура в три четверти роста вождя всё так же заносится силуэтом на небо. Девичья гордость в обнимку с мужским достоинством всё так же сидит на скамьях у фигуры.

— И на что вам наши ноги, я никак не пойму? — спрашивают девушки, словно не знают. — Вы же руки нам целуете, лицо, а не ноги, но все говорят: ах, какие ноги!

Может быть, и правда, что они не понимают, — только вряд ли.

А в поездах сидят, перемещаются.

Как всегда, куда-то едет поездом интеллигенция, сидит в вагон-ресторанах и спорит о судьбах своего

государства, сходясь лишь в одном: как бы заставить всех людей поступать моментально разумно. Что же такое разумно, тут они расходятся, иногда кардинально.

Всё так же народ неразумно открывает прозрачную бутылку с мягкой крышкой и ругает прошлого правителя, о нынешних молча.

Всё так же бегают модницы купить друг у друга что-нибудь нездешнее, что-нибудь модное.

— Это не импорт, тут по-русски написано.

— Но по-русски-то что написано? Сделано в Польше.

Всё так же бегают животные по тёмным лесам, добиваются поесть немного тела друг у друга.

Всё так же идет тихая война молодежи и порядка. Молодежь повсеместно оскаляет смешливые зубы, а порядок требует строго не оскалять её смешливые зубы.

«Механизм за всё в ответе», — сообщает печать.

В бане, в пару, идет за матовыми стёклами непрерывная мойка голов и подмышек.

Всё так же сидят литераторы, всё время делают из себя литературу, из тела своего и из органов чувств, из нерва, из сердца; из мозговых своих веществ, в крайнем случае — кто не имеет достаточно тела и всего остального.

Всё так же ходят друг к другу таланты, жалуясь, что не могут отдать себя людям, чтобы взамен получить от людей что хотят.

Всё так же люди не приемлют таланты, в то же время охотно давая им всё, что хотят из одежды, еды и жилья, кроме нужного этим талантам восторга.

2

Я шёл по улице и нес в руках сумку. Это была удобная сумка. В ней я носил свои рукописи, а также

газеты, журналы и книги, которые я покупал по пути. В нее можно было купить и кефир, и булку, и вообще что угодно.

Не помню, что именно меня остановило возле этого дома. То ли сосулька упала сверху и взорвалась передо мной на тротуаре. Впрочем, видимо, не сосулька, так как на подобных домах сосульки не растут, это им не дозволяется, как выяснилось после. Одним словом, я задумался и стал на месте.

Неожиданно из-за стенки, из-за угла, выскочил на меня молодой человек, который бы и видеть меня был не должен. Однако он выскочил без пальто и так, будто специально устремился ко мне.

— Вы что тут делаете? — спросил он меня, словно имел неоспоримое право спросить.

— Ничего, — ответил я, уже заранее подчиняясь тому неизвестному правилу, по которому мне почему-то нельзя тут стоять. — Извините!

— Пройдёмте со мной, — сказал он и повернулся идти, даже не удостоиваясь взять меня рукой за рукав, как это делают всегда, когда ведут, не вполне уверенные в своём полном праве. А то есть уж он-то был вовсе уверен.

— За что? — спросил я поэтому без всякого удивления, направляясь за ним. — Я ничего такого не сделал. Раз нельзя, я не буду.

— Что — не буду? — сказал он спустя, сказал с интересом, восходя на широкие ступени из мрамора.

— Ну, всё. Что нельзя, то и не буду, — отвечал я охотно, по-интеллигентному, и только тут вдруг заметил, что это за дом, возле которого довелось мне задумчиво встать.

Это был некий довольно большой дом, в котором оберегают российский народ внутри него друг от друга. Этот большой дом так и зовут в народе с оттенком уважения — большой дом. Увидев это, я взошёл по ступеням с некоторой торжественностью и готовно-

стью пострадать, хотя вины моей было немного, как я тут же и взвесил: то есть, видимо, нельзя останавливаться возле этого дома, к тому же задумавшись, к тому же имея в руках своих обширную сумку.

Итак, я торжественно взошёл по ступеням, которые для того и были сделаны в мраморе, чтобы торжественно на них подыматься: с одной стороны — к ответу, с другой стороны — наоборот, для страдания.

— Идите, идите. Не бойтесь, — сказал мой провожатый, молодой человек моих лет, к которому тут же я почувствовал презрение: зачем ты пошёл на такую работу? Чтó за работа — я, конечно, не знал.

— А я и не боюсь, — сказал я с вызовом, отпуская тяжёлую дверь, которая туго пошла сама назад и прикрыла сзади бесшумно за мной белый свет.

Мой вожак усмехнулся и сверкнул в меня глазом, однако строгость тона ко мне подчеркнул и усилил.

— Не беспокойтесь. Небольшая проверка, — сказал он по-простому. — Сумку оставьте тут, на столе.

— Но как же?.. Я не могу. У меня там...

— Не беспокойтесь, — ещё раз повторил он. — Вы получите её обратно, с сохранной распиской.

Мне хотелось сказать, что у меня там рукопись, которая, если её прочтут в этом месте, вряд ли очень понравится этому месту. Но понятно, что я сказать этого не мог.

«Да полно, — подумал я тут же. — Так ли уж их интересуют наши рукописи? Мы преувеличиваем. Да ведь я и не долго! Они прочитать не успеют.»

На этот счет я слегка успокоился.

Но тут же испугался снова: стол, на который мне было указано, находился в вестибюле, открытом на воздух. Сам провожатый, который по видимости за этим столом восседал, собирался пойти со мной дальше. Так что я забеспокоился, как бы сумку мою, весьма красивую и новую, без всяких там сложностей

попросту не тяпнули проходящие люди. Но тут же я решил, что вряд ли в таком месте кто-нибудь решится сделать именно это, тут проходят люди совсем не такие. Вольный же, уличный вор своей волей вряд ли решится сюда забрести. Правда, во мне появилась ещё одна мысль: а возможно и то, что они их... в общем, некоторых вороватых людей используют... ну, там для различных государственных целей (если надо)... так вот: как бы помимо целей не прихватили бы сумочку, которую мне ведь не жаль, но там рукопись.

Как бы то ни было, сумка осталась в вестибюле, а сам я, отторгнутый от неё, был доставлен на пятый этаж.

Мой провожатый оставил меня в начале коридора, а сам пошёл вперёд, открыл какую-то дверь и громко, радостно туда возгласил:

— Ну вот. Привёл Марамзина!

И вытер лоб.

Сперва я даже не подумал, откуда ему известна моя фамилия, а лишь отметил, что он отчего-то доложил не по-военному, сугубо штатски. Да и сам он был одет не по форме, хотя его брючки были вполне милицейские, с полосой. Пиджак, тем не менее, был модный пиджак, совершенно штатский пиджак, на три пуговики.

— Почему так долго? — крикнули грозно изнутри помещения, из-за двери.

Я метнулся вперёд, хотя мне приказано было ожидать где стоял.

— Как же долго? — почему-то кинулся я объяснять, защищая своего вожака от его несомненного и злого начальства. — Вот... мы прямо так и пришли... нигде не задерживались... прямо так, с улицы.

И зачем я кинулся его защищать? Видимо, как я понял впоследствии, это случилось оттого, что вначале я его презирал, а тут, увидав, как ему приходится от начальства, враз и пожалел его, такого: презирае-

мого снизу да еще угнетаемого его же начальством, которому он верою служит с молодых своих лет. Есть у нас такая непоследовательность, есть.

Из комнаты вышел полковник с вислыми щеками и очевидным даже при молчании громогласным, хозяйским ртом, в котором — то есть в полковнике — я сразу же узнал одного из тех военных, что частенько выпивают вечерами в союзе писателей.

Неожиданно он обнял моего провожатого и с благодарностью поцеловал его с размаху, куда-то в нос, что не вязалось с недавним грозным окриком.

— Молодец! — сказал он ему и обернулся ко мне. — Сейчас, минуточку. Только закончу с товарищем.

Провожатый ушёл, унося на себе поцелуй от начальства.

И тут мне стало всё в момент непонятно и странно. Ну, я нарушил. Ну, привели проверять: что за гусь? Я не возражаю, пусть проверяют, что за гусь. То есть это даже хорошо, побывать в таком месте, а затем взрастить в себе приятную обиду: почему, мол, хватают, почему ведут? так с народом нельзя! И из этой обиды создать прекрасные, вольнолюбивые произведения с расширительным смыслом, которых ясно что не напечатают, но будут долго ходить по рукам.

Но вот зачем тогда они спрашивают: почему так долго? Что это значит? И фамилия — откуда известна фамилия? Ведь как раз и вели, чтоб узнать и проверить фамилию. Я потрогал в кармане паспорт — в кармане паспорт находился на месте.

В коридоре стояла группа людей, видно, работающих внутри этих стен. Среди них были даже две девицы. Они курили и разговаривали. Я разобрал слова «Тибр», «уже» и «русская литература». Первое и последнее повторялись чаще всего. Одни говорили всё больше: Тибр, Тибр; в разговоре других мелькала всё «русская литература». Иногда кто-то вставлял между ними «уже».

Это и совсем насторожило меня, потому что читатель этого знать не обязан, а мне же было известно, что Тибр — это не река где-то там, в географии, нет; Тибр — это молодой литератор из нашего города, можно даже сказать, что почти что мой друг. Впрочем, это слишком сильно сказано: друг. Впрочем, и это слишком сказано сильно: молодой. Даже литератор — и то немного сказано чуточку слишком. Но, согласитесь, при чём же тут Тибр?

Дверь отворилась, и из неё вышел сияющий гражданин, неловко переодетый в костюм интеллигентного человека — вероятно, недавно.

— До свиданья, товарищ Кузьменко! — сказали ему вдогонку из двери.

— Надо говорить: товарищ писатель Кузьменко! — поправил он, сияя.

— До свиданья, товарищ писатель Кузьменко! — послушно повторили из двери, и Кузьменко отправился в литературу, без всякой экономии излучая сияние.

«Что ли тут писателей делают? — подумалось мне, глядя на Кузьменко. — Зачем это надо?»

Странно, очень странно.

Нас всех пригласили войти.

3

Полковника в комнате не было. Никого в комнате не было. Даже стало непонятно, кто же нас пригласил? Вскоре я заметил ещё одну дверь.

«Ага, — понял я. — Туда они, наверно, и вышли».

Сотрудники расположились по углам, кто где хотел, приготовясь, очевидно, сотрудничать. Мебель была современная, заказная, удобная. Девушки постепенно клонились и клонились на диванчике в разные стороны да и прилегли почти горизонтально, продолжая курить.

— Почему это так? — решился я тихо спросить у соседа и показал ему рукой на девиц.

— А что? Можете и вы тоже так. Это чтоб была непринуждённая обстановка, без скованности, — объяснил он мне с деликатностью, тоже негромко. Объяснение мне понравилось, хотя я ровно ничего не понимал в обстановке.

— Ну, вот и я! — сказал полковник громогласно, входя наконец из-за внутренней двери. Мне показалось, что девушки всё-таки несколько сжались в своих непринуждённых позах, при своих сигаретках.

Полковник за это время успел переодеться в скромный серенький костюмчик. «Что там у них — костюмерная, что ли?» — подумал я с удивлением.

— Да, — сказал полковник, обращаясь ко мне. — Я переоделся. Я знаю, что мундир пугает интеллигентного человека в России.

Интеллигентного человека — это, значит, меня, потому как прочие — люди бывалые, здешние. Я ещё ничего не понимал, но мне сделалось тотчас приятно.

— Простите нас, — сказал мне полковник, садясь, — что нам пришлось раздобыть вас таким странным способом. Ведь если бы мы пригласили вас попросту, телефонным звонком или открыткой по почте, вы бы, чего доброго, напугались сами, напугали вашу семью и, главное, всех своих друзей, среди которых нашёлся бы кто-нибудь — я не говорю, что это были бы именно вы, — кто, не дай Бог, ещё додумался бы сжечь свои рукописи или наделал других похожих глупостей.

— Как же вы меня это... раздобыли? — спросил я, смелея.

— Да вот, получили ваши приметы, посадили у окна человека и ждали: должны же вы когда-нибудь мимо пройти? Но интеллигенты боятся проходить мимо нас, стараются задолго перейти на другую сторону улицы.

— Не знаю, кто это боится, — заметил я храбро, стараясь обидеться, но обидеться не получилось.

— Ну, не боятся — не любят.

— Не любят — это да. Это другое дело, — согласился я, довольный.

— Так вот, — полковник хлопнул по столу, и все, как мне показалось, немного вздрогнули и слегка подтянулись. — Перейду прямо к делу. Нас беспокоит судьба нашей русской литературы.

— То есть как — беспокоит?

Все заулыбались, закивали и зашевелились на местах.

— Тут вы видите отдел литературы нашего дома, — сказал полковник. — Пусть они скажут сами.

— Ну вот вы — вы довольны нашей литературой? То есть тем, что печатается? — тут же спросила меня одна из девиц, спросила быстро, словно у них уже было расписано, что и когда и кому говорить. Другая при этом совершенно молчала, как впрочем и дальше, во всё продолжение, словно была приглашена лишь для обстановки.

— А что? Вообще... — сказал я, решая ни в коем случае не поддаваться на этот провокационный вопрос. — Ничего... разное бывает... советская литература... большие успехи...

— Бросьте, — перебил меня грустно полковник. — Какие там успехи! Стоит только сравнить с девятнадцатым веком. Да вы нас не бойтесь, я прошу вас!

«Вызывает на откровенность», — подумал я снова, стараясь припомнить все методы следствия, о которых когда-либо приходилось слышать. Как я пожалел о том, что относился с пренебрежением к той нужнейшей области литературы, которую мы в своём кругу называем презрительно детективной.

— Откройте любой журнал, — сказал мой сосед. — Невозможно читать!

— Конечно, тому, кто хоть сколько-нибудь разбирается в литературе, — вставила бойкая девица.

— А книги? — продолжал сосед. — Ну, кто их

читает? Миллионами идут потом под нож. А это большие убытки.

— Да, почти ни одна не живёт в литературе более, чем десять-двадцать лет, — сказал ещё один из присутствующих, человек в очках и в ярком свитере, явно одетый под студента. У него в блокнотике было записано что-то, и он иногда туда взглядывал.

— Даже то, что печатают за границей и за что мы, конечно, по головке не гладим — и то невозможно читать. Такая же чепуха, только наоборот, — добавил полковник.

— Кроме Пастернака, — быстро вставила девушка.

— Да, с Пастернаком случай сложный, — произнёс полковник в раздумье. — С Пастернаком мы, пожалуй, сглупили.

— И с Евтушенко. С Евтушенко тоже сглупили, — сказала снова девица.

— Да, пожалуй и с Евтушенко... Но с Евтушенко не мы. Тише... — полковник пригнулся к столу и продолжал совсем негромко. — Не надо это... про Евтушенко. Нас могут услышать.

«Откуда они всё это узнали? — поразился я. — Наверно, записали наш разговор с Д. Ишь ты, выучили наизусть, так и шпарят. Нет, не признаваться, ни за что не признаваться».

— Я, вместе со всей советской общественностью, клеймлю позором недостойный поступок Пастернака, — сказал я громко и отчётливо и, поколебавшись, добавил: — Хотя и очень уважаю его как поэта.

— Да бросьте, — полковник поморщился. — Да мы же не допрашиваем вас. Мы же с вами откровенно разговариваем. А вы нам... нехорошо это, стыдно! Если бы еще какой старик, а от вас не ожидали.

И он долго качал головой. Мне показалось, что и все слегка качают головами. Когда же он кончил, то и все перестали.

«Знаем мы такую откровенность! — подумал я. —

А потом... Чёрт его знает, а может, и верно? — пронеслось у меня неожиданно. — Да и чем я рискую, если даже поддакну? Признание подсудимого еще не есть основание для обвинения», — вспомнил я вдруг, хотя и не являлся никаким подсудимым.

— Вы ничем не рискуете, если поверите нам, — сказал полковник, как будто бы понял, что я думал. — Просто дослушайте нас до конца.

— Да, — сказала девушка. — Послушайте, что скажет товарищ полковник.

И она подвигала задом по диванчику, выбрала более удобное место, словно приготавливаясь к чему-то торжественному.

«Ну, послушаю. А дальше что?» — подумалось мне иронически.

— Нас беспокоит русская литература и её судьба, — сказал полковник озабоченно. — Вот мы и решились взять её в свои руки.

— Литературу? — спросил я быстро.

— Нет, судьбу, — так же быстро ответил полковник.

— А-а, — сказал я, соображая. — Но почему же именно вы?

— А кто? — ответил он с безнадежностью вопросом на вопрос и развёл картинно в стороны руки, показав, что между них ничего, в общем, нету, то есть что некому этим заняться во всём белом свете, вернее, никто не занимается, никого не беспокоит наша русская литература и её судьба. — Да почему бы и не нам? Раз мы за это болеем, — добавил он.

«Ну да, ну да, — понял я. — Раз уж они действительно за это болеют».

Так вот почему они выпивали в союзе писателей! Я-то думал, что они выпивали потому, что им близко по духу то, что делают в литературе наши члены союза писателей. А уж делают то, что вы знаете сами: очень близко к охранительным функциям — то есть

к тому, на что поставлен этот дом. А оказывается, мы просто этот дом плохо знаем. Оказывается, они совсем не поэтому выпивали в союзе.

«Бедная русская литература, — сказал я себе. — Видно, действительно плохи её дела, если приходится взяться за неё таким, как они, — секретным, военным лицам внутри этого дома».

4

— Взгляните только на редакторов: ни одного приличного человека! Если не подлец, так дурак, а если не дурак — то негодяй, — сказал мой сосед с неожиданной страстью.

— А иначе и не удержится! — добавила девушка.

Я с удивлением переводил глаза с одного сотрудника на другого. Право, можно было подумать, что я нахожусь среди самых крайних, самых прогрессивных из моих знакомых. Временами мне даже казалось, что тут прогрессивней.

— Нет, всё же есть просто трусы, — возразил я для честности.

— Ну, а трусы — это разве хорошо? — сказал полковник.

И никто, разумеется, не мог сказать, что да.

— А писатели? Писатели лучше? — с деланной горечью спросил студент сам себя и с нею же сам себе тотчас ответил: — Так и заглядывают во все глаза наверх: что, мол, угодно?

— Тихо, — проговорил полковник с неудовольствием. — Я же говорил, что нас могут услышать.

«Да кого же им бояться? — удивился я снова и даже посмотрел на потолок. — Разве над ними ещё кто-то есть?»

— Ну хорошо, а что же надо делать? — спросил я с иронией, уверенный, что задал им трудный,

практический вопрос. Но оказывается, и об этом они уже думали.

— Вот-вот, — проговорил полковник с удовольствием. — Вот мы и решили. Мы закрепляем книги договором.

— То есть каким договором? — не понял я.

— С нами договор, с нашим домом, то есть через нас — с государством.

— Но ведь и так существуют договоры, с издательством, то есть опять же с государством?

Полковник улыбнулся мне, как хитрому шельме, как бы давая понять, что он вполне оценил моё нежелание понимать, а значит, теперь он уже дозволяет мне понять всё как есть. Но я, напротив, так старался всё себе уяснить и не мог, что от сильных стараний у меня в голове выделялось тепло.

— Наши договоры крепче, — сказал полковник и обхватил доску стола, сжимая её руками. — Крепче и скорее. К тому же, мы заключаем договоры на всё. Там же, в издательстве, у вас на всё не заключат?

— То есть... если высокий идейно-художественный уровень... — отвечал я с достоинством, не поддаваясь на приманку.

— Побойтесь Бога! — вскричал полковник в отчаянии. — Ну где вы таких выражений набрались? Всё-таки писатель, да ещё молодой!

— Ежедневно читаю центральную прессу, слушаю радио. — Я поколебался и добавил для честности: — Иногда.

— Ну так вот, — полковник встал за столом. — Если вы это... слушаете радио (а ведь радио-то наше), то тем более вы должны слушать меня. А я вам — вы слышите? — запрещаю здесь разговаривать с нами таким языком. А то мы сочтём за неуважение к нам. Верно? — спросил он сотрудников, и сотрудники подтвердили, что действительно сочтут.

«Ведь вы же сами придумали такой язык, а те-

перь недовольны», — хотел я возразить, но отчего-то не стал. Я не могу сказать, чтобы я испугался, но и сердить их мне не было смысла. Я изобразил независимость и решил слушать дальше.

— Так вот. Сдаёте нам рукопись. Только одно условие — сдавать в переплетённом виде.

— Почему? — спросил я в искреннем недоумении, забыв, что я решил достойно всё слушать.

— Как — почему? — спросил полковник с ещё большим удивлением, нежели моё, и обернулся к своим, чтоб ему разъяснили; но свои не разъяснили, потому что и им было тоже неясно, как это я не понимаю такой простой и истинной вещи.

— А как же по-другому? — спросил меня мой сосед с тревогой — с тревогой за мои способности или в сомнении насчёт моей гражданской честности, которое возникло начиная с этого момента.

— Ну так... как обычно... в папке, — сказал я нерешительно.

— Да вы что?! — полковник резко толкнулся ногой от стола и уехал в кресле до самой стены, об которую с грохотом стукнулся, что выражало, видимо, крайнюю степень его полковничьего возмущения. — Вы, что, не знаете, что папки отменены?

Некоторое время все молчали и во все глаза смотрели на меня, соображая, видимо, что же со мной надо сделать за это.

— В общем, переплетённую, — сказал полковник сухо и так же резко вернулся на кресле к столу, притянувшись рукой. Он немного смягчился и продолжал: — Проходит пять месяцев, и вы имеете твёрдый договор.

— Пять месяцев! — вскричал я невольно. — Нет, тогда не пойдёт!

— Да теперь разве меньше? — спросил меня мягко сосед.

— Этот, например, безбородый, — сказал полковник и развеселился.

— Основоположник! — вставила девушка, и все расхохотались.

Полковник тоже позволил себе посмеяться над прозвищем известного у нас одного такого редактора, который стремился видом своим походить на великих людей.

И опять мне было непонятно: да как же можно им смеяться над редакторами? Ведь это свои, их же самые люди, которых тотчас же можно переставить к ним в дом. Разве что они смеются добродушно, по-свойски?

— А что? Он ведь и по году читает, и больше. Правда-правда! А что вы с ним сделаете? — подтвердил полковник, отсмеявшись.

«Откуда только он знает?» — удивился я снова. Мне, конечно, было ещё неизвестно, что тут знают всё, только делают вид иногда, что не знают.

— А то и вовсе не прочтёт, но заверит, что читано, — сказал мой сосед как бы с личной обидой.

Студент подвинулся к столу, сложил на нём свои нерабочие руки и произнёс не своим, замедленным голосом:

— У нас в редакции сложилось мнение — надеюсь, вы меня поймёте правильно — так вот, оно сложилось не сразу, то есть это мнение, и касается того, что ваше произведение, а вернее, вещь, мы сейчас, как вы сами понимаете, опубликовать в ближайших номерах нашего журнала, вероятно, не сумеем, то есть в ближайших, разумеется, тоже, но это ещё не значит, что мы с вами, как умные люди, не можем понять друг друга, а это самое главное.

Так это было похоже, что студента прервали и опять залились весёлым смехом.

«Весело тут у них», — подумал я почти совсем

свободно и бесстрашно. Я настолько осмелел, что оборвал их смех и развязно сказал:

— Вот вы недавно говорили, что договоры на всё.

— Да, — подтвердил полковник, послушно переставая смеяться. — У талантливого человека мы возьмём всё, до строчки.

— И денежки за это дадите?

— Да, немного дадим. Остальные потом.

— И напечатаете?

— Ну, не всё, — сказал полковник, давая понять, что, мол, это уж слишком: чтобы брали, давали денежек, да ещё и печатали. — Мы ведь вообще не печатаем, как вы, наверное, знаете. Печатают журналы.

Тут уж я улыбнулся, как хитрая шельма.

— Но журналы, конечно, с нами считаются, — сказал полковник, поняв мою улыбку и желая всё же быть по возможности честным. — После нас они читать будут быстро.

— А как же быть с крамолой? — спросил я.

— То есть? — полковник насторожился. — У нас не может быть крамолы.

— Да нет, — сказал я терпеливо. — То, что сегодня считается крамолой, а завтра уже не считается, а послезавтра, может, снова будет считаться, как знать.

— Разве так бывает? — спросил мой сосед весьма мирно.

— А как же? Уж вам-то это должно быть известно. Например, Иван Денисович. Когда его писали, это было нельзя. А потом ненадолго стало можно — и напечатали. Как же быть в этом случае? То есть если принесём вам такое, которое пока что совершенно нельзя? Арестуете? — спросил я и замер в ожидании.

Теперь меня, видимо, все уже поняли.

— Ну, если уж очень... очень преждевременно, то тогда уж, знаете... тогда придётся у нас... — объяснил мне полковник, выбирая слова, чтоб меня не за-

деть. Но эти слова никак не могли меня задеть. Я их слушал в два уха.

— Временно, конечно, — продолжал полковник. — До каких-нибудь перемен. Мы вам дадим отдельную... в общем, комнату...

— В нашем городе? — спросил я быстро, перебивая.

— Постараемся, — обещал полковник. — Хотя это будет зависеть не от меня.

— Не хотелось бы уезжать далеко, — сказал я снова.

— Комнату, бумагу... — продолжал полковник. — Даже лучше, чем в девятнадцатом веке. А там пишите, что хочется.

— Заметьте, что мы никогда еще так не делали, — сказала девушка ласково.

— Да, — подтвердил и полковник. — Это новый этап нашего развития.

— Ну и что же будет с литературой, которую я напишу?

— Не беспокойтесь, не пропадет. У нас всё хранится надёжно, несгораемо. У нас еще есть кое-что со времен Бенкендорфа. Не публикуем, но храним.

— Да зачем же тогда это нужно? — спросил я, снова не понимая.

— Ну, мало ли. Допускаем к чтению сотрудников. Вот они, например, — он указал на сотрудников, они закивали. — Им это полезно для знания жизни. Откуда жизнь узнать как следует? Только из литературы. Она, литература, не случайна. Вы не слушайте критику, когда она вас учит. Ведь ей так велели. А мы с вами знаем: если что появилось в литературе, то это есть и в жизни. Это, значит, сигнал. Всякий там инфантилизм, сердитые молодые, отцы и дети, «Новый мир», ленинградская школа. Это всё явления, которые мы изучаем.

— Так пусть бы и все изучали, все люди? Зачем пресекать? — сказал я простодушно.

— Об этом надо подумать, — заметил полковник и обернулся к студенту. — Запишите эту мысль. Это интересная мысль молодого писателя.

Он задумался.

— Нет, — сказал он, подумав. — Это, видимо, для всех всё же вредно. Не надо, не записывайте.

— Да ведь истина... — начал я горячо, но запнулся, увидев, что все при этом слове стыдливо потупились.

Не меньше минуты продолжалось молчание.

— Так вот, — сказал наконец полковник как ни в чем не бывало. — Значит, мы договорились? Подумайте. Подумайте и скажите там вашим.

— Кому, то есть, нашим? — спросил я, мгновенно вскинувшись.

— Да молодёжи. Да писателям. Да бросьте же! — сказал полковник укоризненно и подал мне руку. — Можете идти. До свиданья.

Не знаю отчего, но мне неожиданно сделалось радостно.

— Вот ие знал, что тут интересуются литературой! — воскликнул я весело, пожимая мягкую полковничью руку.

— Заходите, — пригласил меня радушно полковник.

— Не знал, не знал! — сказал я и пожал руку девушке.

— Заходите, — сказала мне девушка, а вторая промолчала и руки ие дала.

— Совсем бы ие думал, не думал, что имеино тут, — сказал я, пожимая руку мнимому студенту.

— Приходите, не стесняйтесь, — сказал студент.

— Значит, договоры? — сказал я и пожал руку соседу.

— Договоры, — сказал сосед. — Заходите!

— Общий поклон! — воскликнул я у двери, вскинув руку, и так, со вскинутой рукою, ушёл в коридор.

Я сбежал по лестнице и увидел того самого молодого дежурного, который меня приводил.

— Не знал, не знал! — сказал я весело и подмигнул ему левым глазом.

— Что-о?! — спросил он с удивлением, привставая на стуле.

— Да бросьте! — сказал я игриво и толкнул его в бок. — Я же всё понимаю. Пока!

Я схватил со стола свою сумку и выбежал в город.

5

Пробежав недолго, я вдруг остановился, как будто включил полный тормоз. Я даже несколько попятился задом. Дело в том, что я забыл заглянуть себе в сумку.

Поставив сумку на колени, я с волнением раскрыл её настезь. В сумке было всё в сохранности. Но что это? Рукопись моя лежала, переплетенная в кожу, листы прошиты и пронумерованы заново тушью. На последней странице был штамп, а в нем надпись: «Русская лит. Раздел осн. Соцреал. Пред: Мальцев. Послед: Марков-первый».

— Ха-ха! — сказал я себе. — Сразу видно, что не читали. Мальцев! Марков-первый! Почитали бы вы, дорогие! Вы бы увидели, какой там Марков-первый!

Я закрыл снова сумку и пошел на трамвай. Пройдя немного, я вiovь остановился и задумался. Неужели же, когда переплетали, ни одии из переплётчиков не заглянул вовнутрь, не заинтересовался? Я бы, если мне поручили такую работу, да еще в таком интересном месте — я бы непременно заглянул и почитал внутри переплета. Правда, возможно, конечно, что переплетчики — люди нейтральные, прочли — и молчок, и не возмутились нисколько. Но и это вряд ли,

потому что тут и переплетчики — народ всесторонне проверенный и в известном отношении наученный.

«Неужели прочли? — вдруг подумалось мне. — Почему же тогда меня выпустили?»

— Нет, не может быть! — сказал я себе чуть не громко и, почувствовав сильное беспокойство, повернул идти назад.

В вестибюле всё было по-прежнему. Я направился внутрь.

— Гражданин! — сказал мне дежурный как чужому. — Вы куда?

— Да это же я! — воскликнул я смущенно — в смущении за него, что он меня не узнал.

— Ваш пропуск, — потребовал дежурный спокойно.

— Да я же тут... да вы же... Да я только что... русская литература... — проговорил я, растерявшись.

— Вам что — назначено? — спросил дежурный, глядя на меня с неодобрением.

— Да нет, я забыл... я хотел... у полковника...

Что я хотел у полковника, так у меня и не сказалося.

Дежурный брезгливо посмотрел на меня, словно бы он не уважал меня за то, что я пришел сюда снова по своей доброй воле, и приказав мне сесть вдалеке, у стены, стал звонить по своим телефонам.

Он звонил так долго, что я опять удивился: да неужели это такой необычный, сложный случай? Да ведь ходят же к ним эти — как их? — тихие люди, ходят тихо и незаметно, а значит, и быстро. Конечно, я не из таких, но ведь они же не знают — а вдруг да я решился сделать им то же самое? Мало ли? Вдруг. Так неужели и тогда они стали бы держать меня столько при входе? Они должны, напротив, поощрить меня за это, потому что не каждый, далеко не каждый на это пойдёт. И если бы они действительно хотели привлечь горожан для такой, необходимой им функции,

то они должны обращаться достойно, а особенно с интеллигенцией.

«Бесхозяйственность, — подумал я с некоторой грустью. — Как всегда у нас и во всём».

Конечно, я это думал не всерьез, а просто так, от нечего делать, прикидывая и такой образ мыслей. Сам бы я никогда не согласился на подобное гнусное предложение, да они и не посмели бы мне его высказать.

Наконец телефоны договорились друг с другом внутри своей связи, и меня допустили подняться наверх.

Я поднялся, дошёл до той, недавней двери и открыл её без стука, думая, что обо мне, ясно, знают. Уже входя, я из вежливости всё-таки вымолвил: «Можно?» — ио и сам вслед за этим можно — даже несколько раньше — целиком был внутри.

Полковник вздрогнул, когда я вошёл, и уставился на меня круглым глазом. Брюки у него уже были военные, пиджак держал он в руках и выворачивал наизнанку. «Так вот у них как!» — отметил я с изумлением. Внутри приличного, серенького, модного, с разрезом пиджака, на его на подкладке находился мундир. Оказывается, даже разговаривая давеча со мной, полковник непрестанно был в мундире — только погонами внутрь.

Постепенно полковник взял себя в руки, как ни в чем не бывало вывернул пиджак на мундирную сторону, надел и даже заставил себя улыбнуться.

«Не хочет пока что накричать на меня. Очевидно, боится, потому что я им нужен», — подумал я с гордостью.

— Ну, что-нибудь забыли? — спросил полковник, улыбаясь.

Улыбка у него была страиная. Уж очейь быстро она у него спадала — хоть бы он подержал её подольше под носом. А то распустит её вполне любезно, а ие

успеешь на нее посмотреть и прельститься — уже улыбки как не бывало, ни в одной губе, если можно так сказать.

— Я хотел спросить, — начал я, собираясь быть твердым, но сам замечая извинительность у себя, в своём голосе. Уж такие мы, видимо, люди.

— А что же — спрашивайте! — разрешил полковник щедро и позвал меня сесть.

— Вот... рукопись... — сказал я, доставая рукопись.

— А-а, — сказал полковник радостно. — Да-да, знаю-знаю.

— Знаете? — спросил я испуганно.

— Видел, — подтвердил полковник. — Хорошо переплели.

Он взял её у меня из руки и любовно погладил красивый, слегка ещё влажный её переплёт.

— Но вы же... вы её, конечно, не читали? — спросил я с надеждой.

— Читал, как же, читал, — ответил с удовольствием полковник.

— Но когда же? Ведь вы всё время тут... рукопись большая.

— Надо уметь! — воскликнул полковник. Он был явно польщен и доволен. — Очень быстро читаю. Листаю — и уже прочёл. Не то что этот, как его, безбородый.

Он встал, посмеиваясь, довольный, и даже было расстегнул свой мундир, собираясь, видимо, перевернуть его на культурную сторону, но потом передумал.

— Но когда же? — спросил я опять, перебирая в памяти всю сегодняшнюю встречу.

— А вот когда вы меня тут ждали, вот, тогда, — он показал на внутреннюю дверь, и я сразу же вспомнил.

— Имейте в виду, что я ничего не боюсь, — сказал я решительно, потому что путей отступления не было.

— Правильно, — одобрил полковник. — Правильно делаете!

— Я понимаю, конечно, эту хитрость со штампом, — сказал я, умно и с лукавством поглядев на него. — Но писатель должен иметь смелость отвечать за то, что им написано, и поэтому я...

— Хорошие слова! — воскликнул полковник. — Именно, именно так!

— Так что я готов, — сказал я торжественно и вынул из кармана паспорт. — Вот. Берите.

— Зачем? — сказал полковник, отстраняясь. — Мне не нужно. Да что вы? Всё в порядке!

— Почему же? — сказал я, пытаюсь всунуть полковнику паспорт. — Я готов. Возьмите!

Между нами произошла некоторая борьба, которая заключалась в том, что я всовывал паспорт полковнику в руки, подкладывал его под бумаги, лежавшие на столе, а полковник выталкивал его от себя как только мог.

— Да что это с вами? — сказал он мне вдруг с изумлением. — Что это вы подумали? Всё в порядке!

— Не-ет, — сказал я. — Я всё понимаю. Чем раньше, тем лучше.

Я сделал движение к внутренней двери.

— Нет-нет! — возразил полковник, тоже делая движение, как бы преграждая мне путь во внутренние, застенчивые комнаты дома.

— Да вы не думайте, я вполне готов, — сказал я, прижимая руки к груди. — Право же, готов.

— Но зачем же? — крикнул полковник, не понимая.

— И жена согласна... вот я только позвоню жене... — я метнулся к телефону и взялся за трубку.

И вдруг полковник расхохотался. Он смеялся долго и обидно, и я не знал, что мне делать, я представил себя со стороны, с паспортом в руках, и вдруг страш-

ная мысль о моей, о сокровенной рукописи промелькнула у меня.

— Но ведь вы... вы же говорили... — сказал я растерянно. — Вы же мне говорили? Одиночная... в общем, комната... бумага... я разве против? Как в девятнадцатом веке. Я нисколько не против.

— Да что вы! — сказал полковник уже вполне серьезно и без смеха. — Да это к вам не относится.

— Но вы же... — я совсем был убит. — Вы же читали... вот тут... я долго работал...

— И хорошо поработали! — сказал полковник. — Это будет своевременная, нужная книга!

— Но я думал... теперь так не пишут... критические традиции...

— Правильно, — согласился полковник. — У вас глубокая критика недостатков. Деловой подход. Но с пониманием светлого начала в нашей жизни. Как раз то, что надо.

— Может быть... то есть я это так, в виде предположения... может быть, вы торопились...

— Нет, я хорошо прочёл! Нужная книга!

— Но я... что же это такое? Я считал... я думал... я вполне готов... вы не думайте... это же со всей силой... обличение... — я говорил уже, и сам не зная что.

Со стороны я был, наверно, похож на совсем потерянного человека, на человека не в себе, у которого вмиг подрубили колени.

Полковник заботливо взял меня под руку и потихоньку проводил до лифта.

Не помню, как я вышел из парадного по мраморным ступеням и побрёл к себе домой, унося в сумке рукопись, в новом переплете, с аккуратным лиловым штампом:

«Русская лит. Раздел осн. Соцреал. Пред: Мальцев. Послед: Марков-первый».

Придя домой, я еле дождался ночи и лег спать.

Ночь прошла у меня очень трудно и плохо. Я всё время просыпался, а потом никак не мог попасть обратно, в сон, где ко мне приходили к тому же разные неприятные, беспокойные предметы и мысли.

В середине ночи мне привиделся тянитолкай — сказочное животное с двумя головами, направленными в разные стороны. На хорошем, грустном, деревенском теле лошади было насажено с каждого конца по голове. Эта бедная лошадь оказалась тем самым лишённой нормального зада. Хотя, разумеется, зад мы почитаем частью, которая хуже, а не лучше самой головы, однако же телу нужна всего одна голова и один скромный зад, который был бы ей всегда противопоставлен.

Я вгляделся внимательно в каждую голову. Одна из них была отвратительна, а другая же, напротив, прекрасна. Однако они всё время переменялись выражениями, так что было никак не понять — которая же из них отвратительна, а которая именно, напротив, прекрасна. Но в каждый момент какая-то одна была вполне отвратительна, а другая вполне прекрасна — да, это так, в этом я не ошибся, хотя и не мог разглядеть всю картину получше, потому что внезапно стал звонить телефон. Это меня ненадолго порадовало: вот, уже начинают звонить по ночам!

Я сошел с кровати и бережно выловил трубку из ложа.

— У вас киоск недалеко? — спросил меня сразу же в трубке полковник.

— Киоск? Да, киоск недалеко, рядом, на углу, — отвечал я, не думая, зачем мог понадобиться киоск среди ночи.

— Тогда спуститесь и купите журнал, четвёртый номер, — сказал мне полковник.

— Какой журнал? — спросил я послушно.

— А не скажу, — неожиданно ответил полковник, делая загадку. — Наш журнал, самый что ни на есть наиболее наш. Догадайтесь.

Догадаться, конечно, было вовсе не трудно.

— Ага, — сказал я. — Понимаю. Но зачем?

— Мы вас там напечатали, вот зачем, — сказал полковник с удовольствием.

— Как? Уже? — испугался я. — Так быстро?

— А у нас всё быстро. Не то что у того, безбородого! — сказал полковник и захмыкал несколько самодовольно.

— Как же так? — начал я упавшим голосом. — Неужели...

Но полковника уже в трубке не было, он отключился.

— Боже мой, Боже мой! — воскликнул я в отчаянии, роняя трубку неизвестно куда. — Какое несчастье!

— Что? Что такое? — испугалась жена, просыпаясь.

— Несчастье... Какое несчастье! — приговаривал я.

— Да что случилось? — закричала жена.

— Ты представляешь? Меня напечатали!.. — ответил я горько. — Целых два года работы насмарку!

Я сел на кровать и схватил себя руками под мышки. Я начал, сам того не замечая, от горя раскачиваться в разные стороны.

— Ну ничего, ничего, — говорила жена, прижимаясь ко мне щекою и утешая, хотя и не верила сама, что ничего. — Ты же не стоишь на месте, как другие. Ты работаешь дальше. Ты развиваешься. У тебя другая повесть в заделе, похлеще. Уж ею-то ты им покажешь! Уж её-то ни за что не напечатают, можешь быть уверен!

— Правда? Не напечатают? — спросил я с надеждой.

— Ни за что! — сказала жена, постепенно набирая уверенность, и я слегка повеселел, потому что я очень всегда доверял своей жене, её чувству.

— Но почему, почему же так быстро? Ведь он говорил мне сегодня: пять месяцев? — вспомнил я вдруг и от этой новой, неожиданной мысли как-то сразу же понял, что полковник сейчас в телефон пошутил, сидел себе, видно, один на работе (они же, бывает, сидят по ночам), стало полковнику грустно одному в кабинете, ну он и того, и пошутил надо мной.

— Ну конечно, пошутил! Он весёлый, полковник, с пониманием юмора. Конечно же, пять месяцев, не меньше, ведь он говорил! Раньше даже у них не бывает, никак... — сказал я жене и вздохнул с облегчением.

январь 1966

**ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
ВЕРИЛ
В СВОЕ ОСОБОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ**

ПОВЕСТЬ

“...вред гения исправляется явлением другого, противодействующего”.

И. Киреевский

О жизни человека, если условно ее расчленить, можно написать серию повестей с такими названиями:

1. Человек, который верил в себя
2. Человек, который верил в светлое прошлое
3. Человек, который верил в лучшее будущее
4. Человек, который верил правительству
5. Человек, который верил в связь людей
6. Человек, который верил в великую силу наивности
7. Человек, который верил в обряды
8. Человек, который верил в свое особое назначение
9. Человек, который верил в искусство
10. Человек, который верил в наоборот
11. Человек, который верил в разум
12. Человек, который верил в работу как в таковую
13. Человек, который верил в экономию
14. Человек, который верил в справедливость
15. Человек, который верил в борьбу
16. Человек, который верил всем людям, которые верят, и др.

Одна из этих повестей, отнюдь не самая главная, отнюдь не самая нужная и даже не самая первая по порядку — а во всех отношениях какая-то срединная — и последует за этим небольшим вступлением. Герой ее, конечно, человек незаурядный и даже в некотором роде мученик своей идеи, а вреден он или полезен — судить не нам.

“Являясь для больного душою сильным ядом, для здорового любовь — как огонь железу, которое хочет быть сталью. Однако не перевелись среди нас еще отдельные личности, которые видят в женщине только самку. Что ждет такого донжуана в будущем? Он самоустраняется от общественной жизни, лишается благотворного влияния коллектива, вызывает всеобщее презрение окружающих. Истасканный и потрепанный, одинокий и разочарованный, будет он доживать свой век. А если и найдет он себе попутчицу в жизни, то только потому, что она, подобно ему, носилась по волнам жизни и не сможет даже назвать всех своих “мужей” (привести примеры)”.

Инструктивная лекция “О дружбе и любви”.

г. Минусинск, 1963

1. ПОЛНАЯ ЯСНОСТЬ С САМОГО НАЧАЛА

Что скрывать, это относится к женщинам. Это не значит, что речь пойдет о женщине, которая верила — и так далее. Речь пойдет о человеке, который верил в свое особое назначение в отношении женщин. Проще говоря, он верил, что ему назначено их ублажать, то есть о них самому ублажаться, то есть, я думаю, всем это ясно.

2. РЫБА В ВОДЕ

С детства тянулся он к женщине. Но так много имеется вокруг нас людей, которые видят свое назначение в том, чтоб скрывать назначение наше от нас, то долго он совестился этого сам, загонял это внутрь, и оно, внутри, лежало камнем, выпирая неожиданно в некотором месте, главным образом в бесконтрольном сне выпирая, а также в трамвае, в автобусе, в давке женских людей (как сказал поэт) об него, где, хотя он и боялся этого каменного выпирания, но еще боялся более, чтобы в давке его не касались случайно

мужчины, и при этом брезгливо вырывался куда только мог, так что не искал специально соседства, а лишь водворял себя естественно в ту среду, где он мог дальше жить. И потом, дальше было: живет он, избегая автобусов и прочих трамваев, ходит попросту, вдалеке от других горожан, и ничто кругом не предвещает такого, но это, то самое, тихо вдруг возникает — поперек совсем постороннего размышления, на виду у прохожего человечества или живущего почему-либо рядом. А в силу своих необычных стремлений, в силу горячности, что бывает в те годы, убраться это не может никак, и некому, нечем его заслонить. Что тут бывает! Вспыхивает кровь от уха до уха, брызгают слезы, не умея помочь.

Но, как всегда это, в общем, случается, невозможно такое слишком долго скрывать, пока не бывало в нашем мире людей, от которых надолго удалось бы сокрыть, — а тем более не было, чтоб навсегда; разузнают они, друг от друга узнают, из кино и от книги, заглотают из воздуха, от прохожей женщины им передастся, по заборам, в крайности, могут прочесть; и открытие, что скрывалось сознательно, скрывалось людьми недобросовестными, — это открытие бьет неожиданно в сердце, и заслоняет собой остальное, и ширится.

3. ВОТ ОН Я!

В этом возрасте часто бывает веселье. И пока иные крутят черные ручки, клавиши нажимают, меняя волну, вполне довольные рюмкой в себе и ударами ритма, в такт притопывают острым ботинком, под стул, хотя на каждого предусмотрено накануне по девушке и каждый заранее обещал себя ей показать — да все не показывал, а только притопывал, только поглядывал глазом, говоря что-то очень простое, даже слишком простое, хоть и не был так прост; *он* же в это время, заняв соседнюю комнату, куда никто теперь не пускался ходить, если же не было комнаты, то закрывшись на кухне, в ванной закрывшись, в конце концов, на крючок или выйдя на лестницу, выше площадкой, *он* уходил от такого скучного ему, неидейного и пустого веселья, уходил,

разумеется, не один, а вдвоем, и там разворачивал себя в полный рост, как он мог — а при этом, надо признаться, он мог.

Оказавшись с другом своим как-то в комнате на ночь — с ними вместе были согласные девушки — то друг, лишившись поддержки весельем, танцем поддержки, притопыванием, анекдотом, волной, друг заскучал, только свет был погашен. И ожидая всю ночь, когда станет абсолютное тихо, то есть тихо наступит у того, на диване, когда на диване наконец будет сон, чтобы незамеченным, в тишине, сделать малое свое, что он мог совершить среди ночи, так и не дождался друг, чтобы сделалось тихо, всю ночь. А утром с дивана встала полная счастья и все говорила, умываясь, одеваясь, говорила, за чаем, за завтраком — все говорила одно:

— Ой, какая я счастливая! Какая счастливая я сегодня, ребята!

Другая при этом едва удерживала себя, чтоб не плакать.

Разнеслась его слава, с презрением, с завистью, — как всегда презирают людей убежденных, как всегда убежденным завидуют втуне. Разнеслась его слава среди женских людей, среди тех, кто и может это только понять. И приходят к нему от такой-то, с запиской.

— Я хочу... понимаете? быть ей сестричкой.

Понимаете? — сестричкой, по нему то есть как бы сестричкой, такое это иносказательное слово, которое значит нечто вовсе иное.

А если приходят — вдруг его осеняет:

— Не для себя, а ведь больше для них! То есть просто для них, для них одних, не я — а мною, через меня как бы им раздается, а я только повод!

И вот уже верит в свое назначение, верит, верит уже, что его это главная цель на земле, что неспроста ему отпущено, надо раздавать себя, все полнее и шире, всем себя нужно раздать, черным, желтым и рыжим, иностранным нужно раздать себя, узкоглазым и прочим. Там меня никогда еще не было? Ну вот, погодите, будет и там меня, скоро дождетесь! А здесь, у вас, — пасмурные, бедные — у вас не бывало меня? Вот он я, забирайте!

Что же вы меня не цените? ведь потом станет жалко — а меня уже нет. Вот он я — и нет меня. Мне нельзя тратить время, у меня его мало, и так семь часов ежедневно у меня отнимают, меня отнимают от вас, от людей, от вас, человечество женское — ничего не поделаться!

Другого не понимал и не верил, что не все это ценят. Да как же не все? — если фильмы про это. Если книги — о том же. Если все об этом неустанно поют.

— Мы с тобой два берега у одной реки, — поют.

— Где проходили милого ножки, — поют.

— Но как на свете без любви прожить? — опять же поют, задавая вопрос, потому что не знают действительно — как.

Или вот он слышал однажды в деревне:

“Ах, у моёво у бахвала нету ручки у подвала”, — поют.

Может, кому-нибудь это неясно, но он понимает — у какого подвала и какой такой именно не имеется ручки.

“Правда, милые подружки, дырочка провернута, — сообщается в той же частушке подругам, — в дырочку веревочка хохлатая продернута!”

Боже мой! Ведь как сообщается, с какой основательной иронией и грустью! С горечью, можно заметить, поют. Да ведь вот он я — существую на свете, да позабудьте вы от своих от хохлатых, отведайте меня сполна, в полной мере — да и Бог с вами совсем, живите дальше, как можете!

4. НЕОЖИДАННО ДЛЯ ВСЕХ

И вдруг этот человек женился. Как это случилось, никому не понятно. И живет очень тихо, в семейном согласии, в верности принципам, слову и штампу.

Возможно несколько толкований такого поступка.

5. ПЕРВОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Может быть, встретилаь ему такая девушка, которая не поняла сразу, с первой встречи, что за удивительный, исклю-

чительный человек ей попался. Может, даже со второй не поняла она встречи, а возможно, и с третьей. Столкнувшись с чем-то, чего постигнуть не мог, он, естественно, начал повторять эти встречи, биться всем, что ему отпущено сверх, — чтобы ей захотелось отведать того, что положено кем-то не сверх, а в основу. Но видимо, этого сверх оказапось неожиданно очень немного, так что ей никак не хотелось вслед за этим отведать. Все, что он делал, разбивалось о главную трудность: о то, что нельзя было сразу начинать с основного, в чем он силен, в чем его основная огромная ценность для мира, в чем живет он естественно, будто летает. Может, если б могла она видеть его со стороны в тот момент — это как-то не принято между людей, но ведь он исключение в некотором смысле? — то она и залюбовалась, поразилаь бы его совершенству и не устояла. Но не было такого да и быть не могло, а иного — что он мог предложить ей иного? Лишь одни разговоры о том, вокруг того и около того же, хотя бы и разговоры с возведением того в некое солнце, в небольшое светило посреди нашей жизни. Но нет, разговоры ее не проняли. И десятое, и сотое повторение встреч ни на шаг не продвинуло его к той единственной цели, только и имеющей для него настоящую ценность.

И неожиданно он, всегда ругавший лицемеров, придумавших эти популярные игры: мужское достоинство в обмен на девичью гордость, медленное уступание в награду за долгий, неотступный напор, многократные глядения родных кинофильмов прежде возможности взяться за пальцы, слова, слова и опять слова — в ответ на слова, слова и слова, и каждое слово наступает на противное, подавая союзному свою словесную ручку; он, который морщился, едва вспоминая все, чему его когда-то учили учителя в этом вопросе, глубоко и лживо вздыхавшие непонятно о чем, затаившие про себя основное его на земле назначение, — он неожиданно подумал, словно о самом вероятном, словно о простом ежедневном деле мыть руки перед едой и со сна: "А наверное, это во мне и появилась та самая любовь, о которой твердят, — если уж я так упорно добиваюсь ее!"

И уже ему верилось, что это любовь — почему бы и нет? Любили все, любили деды... видимо, есть в этом действительная правда, какой он не знал.

Со всей своей силой он обрушился в это новое для него представление. Раз любовь — то и ясно, почему это долго. Тут уже и законы другие, когда появляется на сцену любовь. Уверившись в этой своей неожиданной способности, как у прочих людей, прикоснувшись через это всего человечества, которое любит всюю каждый день, любит само себя, половина на половину, не считая детей (хотя даже некоторых можно считать), он испытал потрясающий толчок, за которым нахлынуло такое замирение, такое затишье разлилось по нему, которое принял он опять же за любовь, а было это не чем иным, как вливанием в море, причалом кораблика к борту других, многих, тысяч. И за это вливание не жаль заплатить было уже чем угодно: новые десятки встреч пустопорожних — ничего; непонятные какие-то ужимки в словах, а также на лице и руками, в которых прочие отыскивали проявление грации — и он отыскал; нужно для этого пройти через штамп, получить разрешение в виде бумаги — он и разрешение это пройдет. "Все остальные на земле, остальное человечество, его получают? — Как вам сказать, в наиболее развитых странах..." — и хотя на этот вопрос невозможно ответить вполне однозначно, но и здесь перехлестнуло — если хочет *она*. А она, разумеется, бешено хочет, какая же, скажите, она не захочет, если в этом ей видится основной, главный смысл всего дела, особенно в те небольшие года, в которые, как известно теперь по науке, страсть к материнству не может быть сильной, а прочее наслаждение, данное нам для обмана, чтоб из нас выманивать продолжателей жизни, оно придет к ней значительно позже, — так что нет ничего, кроме нечастой любви к поцелуям, кроме желания купить отдельный от мира шкаф по имени "Хельга". Да мало ли что еще хочет она! И все это "хочет" связывается с тем переломным моментом — и на все дает право одна лишь бумага, только на это она и дает, но только это тогда она видит.

Так оказался через год он женатым.

6. ВТОРОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

А может быть, вышло оно и не так. Возможно, напротив, она оказалась с ним тотчас, ничуть не противясь всему, что хотел. И выложил он себя, свое исключительное понимание дела, и она ему вторила — в полном сознании, что такое меж них происходит сейчас. Так они провели удивительный день и ушли по домам забывать друг о друге, а недолго спустя возвратиться и вспомнить.

Но недолго спустя, захотев возвратиться, он не встретил в ней на это согласия и даже никакого уважения к воспоминанию. Эта странность, эта неуважительность, столь непонятная ему, столь не похожая на него самого, который помнил с благодарностью все, что с ним было, — хотя и не сам для себя, а для них, для них одних, и только они и должны это помнить ему с благодарностью, но он, который помнил, несмотря на это, им всем, он был удивлен до расширения глаз. Он остался стоять внутри стеклянного телефон-автомата, мешая светиться ему изнутри для прохожих поэтов, черным телом надолго застряв среди будки, не давая тем самым войти ей в пейзаж.

Подобная странность, если к ней возвращаться, никак и ничем не могла объясниться. И как бы ни прикидывал он свое знание, а также внезапные случаи жизни, ничего в этот раз у него не сходилось.

Тогда он добился второй, неназначенной встречи, может, просто дождался ее в проходной, может, адрес узнал и явился как друг. И в эту вторую, неотвергнутую встречу были только одни разговоры досыта, а того, основного, как будто и не было между ними совсем. В третью тоже продолжились те разговоры; скоро он так натерел в разговорах, что мог разговаривать из любых положений — и тогда ему было позволено разговаривать лежа. И тут-то действительно, в этот раз с разговором, ему показалось, будто он никогда не изведывал ничего похожего прежде. Это, и только это, захотел он проделывать, пока не умрет. Он решился и сказал самое стыдное, самое морщившее прежде его, выворачивавшее наизнанку, наперекосяк его слово — и оно ничего, прозву-

чало у них в разговорах. Разговоры приняли его в себя, в свои извилистые недра, иногда выбрасывая его на поверхность. И чтобы вечно продолжились между них разговоры, он сам настоял и скрепил их бумагой.

Так вторично он принял за любовь (и поверил) простое свойство, доступное всему человечеству, — его любовь поговорить и послушать.

7. ТЕМНАЯ НОЧЬ МЕЖ ЛЮДЕЙ

А может, он утрашился однажды, когда остался один ночевать. Известно, что не всегда ожидают вас розы на том нелегком пути, что он выбрал себе. Это служение, которое желается быть непрерывным, зачастую не умеет быть действительно непрерывным. Если старые знакомства все исчерпаны, если они не требуют повторения — это будет как остановка среди поспешного бега, как потеря напрасно драгоценных минут, как недополучка кем-то его в этот день, как вообще огромная фигура псу под хвост — тогда как новые почему-то не получились, сегодня не получились, завтра не получились, или получились, но с непониманием его назначения, то есть в конечном итоге впустую, — то и придется ночевать одному, и так может выйти подряд день за днем.

Отчего же мы все-таки так боимся ночи? Ведь не признаемся себе, а боимся. В удобных домах, в электрическом свете, который не может прогнать тайный страх перед той темнотой, что дома́ окружает, и мы прижимаемся ближе друг к другу, особенно подходит для этого женщина — прижимаемся к женщине, прижимаемся ко сну, только он, самый ближний по ночам человеку, может заставить его позабыть свое тихое устрашение перед чем-то, чего и нет, только сон может выстроить другую реальность на это короткое время, и в этой реальности — вы замечали? — всегда стоит день, то есть в любом вашем сне. Неужели важен людям какой-то солнечный свет, зачастую рассеянный через толстые облака и невидный, вернее, что важен — то известно любому, но неужто так связаны мы с ним, что лишь перестает он, как мы

должны все улечься горизонтально и перестать глядеть на него глазами, чтобы не увидеть, что его больше нет?

И очень верится мне, что именно так, ночью когда-нибудь в одиночку, задумал он твердо прикрепить к себе для этого свою постоянную женщину. Настолько сильно было в нем устрашение перед тем, чтобы спать одному через длинную ночь, что оно пересилило всё его назначение, главную его, непоколебимую веру, которой, как с горечью стало казаться, не место еще среди этих несовершенных людей, неспособных понять даже собственной пользы, даже принять в себя свое удовольствие.

8. КОЛЕБАНИЯ ВЕРЫ

Возможно также, что заколебался когда-то в своей этой вере: а почему предназначено мне, как же я так уверен? Я про других ничего же не знаю, другие, возможно, обходятся с этим не хуже. Допустимы также нередкие встречи с другими, действительно несколько подобными ему в этом деле людьми, которые просто узнают в этом качестве по приметам друг друга и вступают, узнав, меж собой в разговоры, но не имея столь твердой уверенности в своем назначении, а также и доли тех сил, что имелись у нашего человека, однако имели неприятную легкость в словах, чем нетрудно действовали на его простодушие, поверившее в мнимое их превосходство на этих путях и устыдившееся за себя, за свой малый успех и возможность, хотя превосходства всего было — слово, которое мигом слетало с губы. Устыдившись, он мог разувериться в своем назначении, тут же сменив на семейную жизнь.

Итак, он женился и жил очень тихо. Год тихо жил, даже два, даже три. А оттого еще жил очень тихо, что жена его по имени Алла весьма содействовала его тихой жизни, никогда не спуская с него своих глаз. Тем самым она создавала инерцию, по которой катилось его решение на семейную жизнь, чем бы ни было вызвано оно поначалу. Она убирала с пути его любую возможность, любой малый повод, чтобы выпасть

назад. С другой стороны, окружив постоянным презрением, постоянным и сильным отношением свысока все его прежние взгляды на мир, всю его искреннюю веру в назначенность линии, она понемногу разрушала и саму его веру, если та не была еще разрушена раньше. Конечно, не мог он со временем не проникнуться мыслью, что все его прошлое содержит нечто постыдное, о чем рассказывать можно не иначе как шепотом, а при его огромной цельности он не мог совершать добровольно собой ничего, в чем бы не был предельно убежден изнутри.

Точно знала она, сколько времени нужно ему до работы, иногда вдруг встречала его для проверки, знала, сколько времени бреются и стригутся мужчины в своем мужском парикмахерском зале, при этом проверки на редкость просты: все же должен он выйти побрит и острижен, а попробует сам — это выйдет длинней. В бане знала, сколько следует мыться, однако и в баню ходила вдвоем — дойдут до классов, а там и разделятся. Дальше, к сожалению, ей с ним нельзя. После бани же был он обязан дожидаться, ей быстрее не управиться в смысле волос, как известно, у женщины волос-то долог, хотя с продолжением она не согласна, она считает, напротив, что придумала все и умно, и надежно, потому как за ним, за таким человеком — нужен глаз да и глаз, непрерывное давление глаза жены.

Он спокойно выносил на себе этот глаз. Год выносил, даже два, даже три. И что случилось потом, никогда не понять. То ли встреча какая-то смогла произойти, сумела выпасть из-под этого надзора. Встреча вернула почему-то ему его веру, которая вспыхнула вновь с потрясающей силой. Или неослабные надзоры всегда не способствуют тому, на что нацелены для охранения, а способствуют наоборот, и из-за этого наоборот возродилась прежняя вера — как знать.

А вернее, я знаю этот точный момент, этот случай.

9. ВЫСТРЕЛ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

В один из дней, когда подозрительность его жены Аллы дошла до неприятных ежедневных разговоров, начиная слег-

ка мешать ему жить на земле, он задержался в послерабочее время для какого-то серьезного общественного собрания, где была замечательная явка рабочих и служащих, что говорило само за себя и за их уважение к общим собраниям — при досрочном начале за час до звонка.

И покамест первый оратор говорил то, что мог, а второй, уже отрешенный от всего остального собрания, сидел в стороне, шевеля про себя губами, словно выманивал свою речь из нутра, как, приговаривая, манят цыплят, он, наш герой, человек, который верил в свое особое назначение, то есть верил когда-то, а сейчас как бы временно уже и не верил, он стоял на ногах за последним рядом сидящих, потому что сесть самому ему было бы негде из-за этой упомянутой замечательной явки. Надо же было случиться такому, чтобы здесь, где с трибуны говорил говоривший, где сидел приготовленный следующий человек, упражняя свои неумелые губы, не привыкшие подниматься на такие высоты, с которых мелочных дел не видать и не нужно, — надо же было такому случиться, чтоб как раз перед ним оказалась сидящая девушка. Последний ряд был длинен и усажен неженскими спинами. Много людей, создав собой небывалую явку, стало за спинами мощной стеной. Часть стены была втянута вперед, по проходам, скучена и сдавлена, и лезла сама на себя. Так что нельзя объяснить, почему в этой массе людей он очутился стоящим за девушкой. С другой стороны, объяснить, разумеется, можно, так же как можно объяснить человека, оказавшегося на маленькой кочке посреди необъятных просторов болот, и почему он опять перепрыгнет на кочку. Такова была его исконная природа, и это как раз укрепляет нас в мысли, что не мог он быть начисто переделан женой.

Эта девушка, сидящая перед ним в этом общем собрании, лица которой он не мог увидеть, не нуждалась как будто бы вовсе в лице. Волосы, поднятые высоко над ушами, конечно, светлые, как теперь это любят, то есть волосы светлые, а, понятно, не уши, — в этих поднятых волосах было столько тихого блеску, откуда берут они из себя столько блеску, чтобы запустить его в одни только волосы? — непонятно; что же тогда остается другому, например, глазам или коже — а все-таки остается, и там блестит еще достаточно и даже

больше чем надо. Сверху виделась ему у нее под плечами четкая, намеренная грудь, словно гипсовый слепок, облаченная в свитер. Все то небольшое, что он мог видеть в девушке внешнего, было замечательно тем, что вовсю выражало собой ее внутреннюю сущность; сущность же эта была крайне женской.

Стоя в таком чрезвычайном соседстве, что-то начало исходить от него в ее сторону, что-то начало исходить, вероятно, и к нему от нее. Как бы там ни было, вдруг он тихо возложил на нее руку, на всю ее сущность сверх блестящих волос, а она, не вздрогнув, эту руку приняла на себя так, как надо. А после этого много не нужно, все дальнейшее развивается быстро: уж раз не вздрогнула, раз приняла на себя его руку, то и нет ей возврата к тому, что с трибуны, ибо в ней появилось нечто очень простое и естественное, что гораздо серьезней и гораздо сильнее. Дальнейшее, в общем, развивается просто: смешок, наклонясь близко к уху, на последнюю фразу, которую вынесли с трибуны прямо в зал и которую зал принимает, не дрогнув — а мы на нее меж собой усмехнемся; что-то в ухо, опять, досказать за оратора — а что, не имеет никакого значения; и потом уже можно ненароком сказать — да чего они тут? надоело! пошли? И немного кивнет, будто сделает "ладно", чуть помедлит — и верно: выходит из ряда.

Два давно знакомых меж собой человека пробираются вместе с собрания к выходу — так это выглядит для всех посторонних. И только некоторые, сотрудники одной из сторон, на минуту отметят с удивлением неизвестное до сих им знакомство, не понять как возникшее в разных цехах. У них мелькнет со значением, а потом перестанет, чтобы где-то отложиться про запас, на всякий случай, потому что это значение может действительно ничего и не значить, но однако, как правило, что-нибудь значит.

И когда они вышли, то значение было. А раз так, то уже никакое собрание, никакие удивительные точки обзора не могли их притягивать, заслонились всем тем, что они собирались немедленно сделать друг с другом.

Не надо рассказывать, как проходило все дальше. Он был старый умелец проводить это дальше, тот необходимый обмен именами под названием знакомство, чтобы было на что откликаться в ответ, а также небольшой вводный проигрыш по рукам и за плечи, с малым целованием нерешительных губ.

Все же последующее называлось гулять, и все действительно вмещалось в этом громадном, многосмысленном слове, означающем и ходьбу на свежем воздухе взад и вперед, и любовь между двух, и гулять с кем-нибудь, и много гулять, больше, чем позволяет мораль, и гулять всю жизнь, то есть лихость и непостоянство, и гулять от кого, то есть опять же непостоянство от известного адреса, а также множество прочих значений. Кроме прочего множества, все получилось в их слове, и даже больше, чем все. Было у них, в этом слове, прохаживание, держась только за руки, было и дальше — держась, как в кино. Было обнявшись, с заходом в парадную, чтоб слегка целоваться, с ее испугом тоже было, потому что ходят люди, тогда как вполне бы могли не ходить, посидеть пока там, где сидели пока. Была незабываемая встреча двух собак среди громадного промышленного города, на какую они со вниманием посмотрели. Был железный поэт, у которого встретились эти собаки, удивляясь друг другу — откуда взялась? Поэт в железном пиджаке стоял на тумбе, не взирая на них с висока. Его необъятные железные брюки наводили на мысль о железных кальсонах. Железная складка легла на железных губах. Такой это был замечательный, вечный железный поэт, которого с легкостью все обходили кругом. Были в их слове очень тихие улицы, на которых недавно и массово, дважды, прошел Новый год, и отработавшие елки, уже не елки, а палки, катались прямо по мостовой там и там, гонимые ветром от родных подворотен, откуда их выкинули в белый свет на простор. Но даже тут, на самых тихих улицах города, где уже стало темнеть, в каждом маленьком завороте, в каждом домике жил всегда какой-то хотя бы один человек, который нежданно-негаданно вдруг уходил или, напротив, возвращался к себе, мешая окончательному смыслу их слова.

И все бы еще обошлось, как всегда, то есть был бы один новый случай из многих, который прошел да и мог быть забыт, ни к чему не воззвав в его прежней природе,— если бы в каждом закуте этого города не был приставлен проходить человек.

Теперь же пришлось попроситься к ней в дом, и она, немного размыслив, немного взвесив неизвестные ему обстоятельства, вдруг согласилась, вдруг сразу решилась, как это умеют решать они вдруг.

— Ладно, только... — сказала она (ничего не добавив, впрочем, к этому только).

Немного они походили еще, а потом поехали, выйдя из трамвая у военного училища, которое он знал.

Училище, прилегающий сад и короткая улица были взяты за длинный единый забор. В заборе был выстроен домик с воротами, и дежурный солдат стоял у домика на посту. Хотя и не положенные возле него по уставу, рядом стояли две девушки — ах, и тут они тоже! — для того, чтобы их веселил тот солдат. "В таком коллективе, как ваш, девушки, все может случиться!" — говорил солдат со значением, на что они действительно громко смеялись.

— Здесь я живу, — проговорила она. — Дай твой паспорт.

И была еще одна возможность остановки на этом пути: если вдруг у него не окажется паспорт. Но паспорт неожиданно в кармане нашелся, солдат козырнул ей, как козыряют начальству, в охране выписали пропуск на его оказавшийся паспорт.

Эти странные обстоятельства — забор и солдат на посту у забора, пропуск, нужный, чтоб пройти только в гости, хотя и выписываемый легко, с одного ее слова, а главное, необходимость вытаскивать из-за пазухи нечто вовсе ненужное в их сегодняшнем деле, то есть паспорт, в котором к тому же внутри некий штамп — все это несколько смутило его, сбило с толку, однако ничего не смогло перевесить.

И вот уже сидит в небольшой ее комнате, в которой зачем-то пробито в каждой стенке по двери. Две из них закрыты и заставлены стульями, третья оставлена дверью за все остальные. В эту дверь пару раз она ходила куда-то, пока он сидел,

а после пришла и уселась с ним рядом. Немного поговорив для начала и большей симпатии, посверкав друг на друга глазами и вдоволь поулыбавшись, они замолчали, вполне понимая, что оба они понимают вполне. Тогда он взял ее руками за плечи, чтобы сделать все то, что они понимали. Он целовал ее длинными поцелуями, а она принимала их в себя и будто складывала в отведенное место, которое надобно ими наполнить, прежде чем двинуться дальше вперед. Он прошелся по ней ладонями, в которых было у него небывалое чутье, которые чувствовали самый малый ответ, и ладони сказали, что ответ подтверждают. Сидя на диване, они слегка прилегли на диване, на спинку. Они закрыли глаза, потому что при этом всегда закрывают глаза. Возможно, он даже над нею навис, навис в одно плечо, своей одной половиной; он как бы несколько занесся над ней.

И тут, в этот момент, за стеной что-то грохнуло, что-то ляпнулось об пол (он и после не понял, что бы это могло), та единственная дверь, что была действительно дверью, распахнулась так широко, как могла, как наверное не распахивалась за всю свою службу, и в комнату ворвались две очень сильно возбужденные тетки.

Еще не понимая того, что случилось, он с досадой подумал про открытую дверь. Но дело было не в ней, он действительно не понимал, что случилось.

Одна из теток была постарше, другая моложе; старшую, как теперь ему вспомнилось, они встретили, когда отворили квартиру. Он с ней даже поздоровался, хотя без ответа. Больше, казалось, в квартире никого тогда не было.

Тетки что-то орали, приплясывали, волосы у них разметались, сверкали глаза, что можно было принять за восторг, о чем он подумал невероятно на миг, хотя и не понимая, чем восторг этот вызван. В его простодушном нутре пронеслось удивление: ведь еще ничего не успел он, ничего не проявил — чем же вызван такой небывалый восторг?

Но тетки были не в восторге, а в ярости. Они скакали перед диваном, потрясая грудями, своими немолодыми грудями, тыча палец, но все не в него, а в нее.

— Я видала! Видала! — кричала старая тетка и все указывала пальцем, все указывала телом почему-то на забитую дверь.

— Кобелей к себе водишь? — кричала вторая и приплясывала, как хорошая старинная ведьма.

— Но позвольте, — сказал он, изображая достоинство, подымаясь с дивана во весь полный рост.

Тетки отшатнулись от него как бы с брезгливостью.

— Нет! — сказали они ему разом, сдерживая что-то, что из них так и рвалось. — Нет, уж вы помолчите, дайте нам поговорить с ней по-свойски!

— Сучка! — так же разом крикнули они в полный голос и начали снова плясать, потрясая задами.

Она стояла перед их приплясыванием — встать когда-то она ухитрилась — и старалась, как можно, вобрать в себя все, что в ней было до этого женского, всю свою знаменитую сущность заглотать перед ними на время в себя, чтобы там сохранить, а взамен оставить на себе облик средний, облик без блеска, вялый облик неизвестного рода.

— Я видала! — кричала по-прежнему старая и все казала, все казала — рукой, головой, всей собою, на дверь. — Я сначала все в скважину видела, ты не смей отпираться!

Она стояла и не смела отпираться, потому что это не имело значения. “Так вот чему служат эти многие двери!” — пронеслось у него.

— Где рука была? Я видала! — кричала старая, не стесняясь признаться, что согнувшись все время глядела в глазок. И другая ей вторила: — Да, где рука?! — Где, где нога была? — Да, где была нога?! — Еще бы немного!.. — Да, еще бы немного! — Мы тебе помешали? — Помешали? — Прости!

Они уже сами не знали, что выкрикивали, зачем так кричали, и только было ему непонятно — да кто же они такие, какое отношение они к ней имеют, какое право врываться, кричать и плясать, какую силу заставляя ее слушать?

Они все больше и больше взвивались от крика, от этих выкриков, отдававших восторгом, и вдруг одна из них, младшая тетка, взвилась на особую, невероятную высоту и ударила оттуда моментальной пощечиной.

Девушка сильно шатнулась, но плакать не стала, тетки от этого несколько поутихли, хотя и сделали снова замах в две руки.

— Как вам не стыдно! — сказал он, беря их за локти и разводя вместе с ними эти локти в углы.

И тогда они вместе, с удвоенной силой, бросились в бой на него, будто только заметив. Они кричали теперь на него, подымаясь на новые ступени восторга, грозились вызвать солдатский патруль, который надежно их тут охраняет, и велеть его упрятать без ремня на губу (почему без ремня? он по-штатски совсем без него обходился, но они о том не знали и упирали в ремень).

— Ты у нас в руках! — кричали радостно эти военные тетки, которые могут приказывать от себя патрулям. — Тебе не выйти отсюда! Будешь помнить, кобель!

И тут она впервые раздвинула их и сказала им твердо: — Пустите.

Они почему-то сейчас же пустили, сразу оставили его и немного примолкли.

— Я сейчас вернусь, — сказала она, уже готовая сильно заплакать, как бы им и хотелось. — Это наше с вами дело, а его вы не троньте. Пойдем, я выпущу тебя из квартиры.

В коридоре и на лестнице она много плакала, говорила, наскоро утираясь, что скоро с работы вернется отец, он военный полковник, горячий человек, и если тетки начнут про нее рассказывать, он может и выстрелить в них — то есть в них, а не в теток — из своего пистолета, который имеет. А мать у нее не родная — это младшая тетка, ясно, что есть у нее и родная, но у матери свой человек, и своя другая дочь, и своя другая жизнь, мать с отцом не живет, а она тут осталась, это комнатка ее, и она в ней может делать что хочет.

Она убежала, оставив его дожидаться себя, и все это было ему непонятно. Комната, в которой можно делать, что хочешь — тогда как врываються, едва ты подумаешь что-нибудь сделать; военный полковник — неужто и верно настолько горячий? но в общем, действительно, может и стрѣльнуть — хотя, опять же, откуда у него пистолет? У них пистолетов сейчас не бывает. А главное, чего никогда он не сможет

понять — что же именно вызвало этот визг, этот крик, что такого увидели они между них, между ним и этой вполне уже взрослой девицей, которой паспорт уже разрешил захотеть что захочет, отчего же тогда эта ярость и крик?

Он не мог понять этого и после, спустя заметное время, во время которого он передумал много сильных картин, что могли им совместно и порознь угрожать тут, за этой оградой, как вдруг она вышла к нему с большой сумкой, уже отплаканная, с нарисованным решением на лице, со всем своим блеском, перешедшим в глаза, и сказала спасибо, теперь она знает, она не должна больше тут оставаться, наплевать ей на комнату, с такими людьми, он должен сейчас же помочь переехать ей к маме. И потом, когда он бегал за такси и сидел в машине возле входа с солдатом, и она что-то долго собирала, а потом сама принесла чемодан и рюкзак, чтобы вновь не выписывать пропуск ему, хотя нести за забором их было не близко; и потом, по дороге, принимая голову ее на плечо, но не больше, потому что о прочем, казалось, нельзя сейчас думать (а почему нельзя? думать можно всегда); и нося чемоданы по лестнице в темном доме на другом краю города, причем чемоданов оказалось немало, они не могли поместиться за рейс и все были нужны для новой, заново перевезенной жизни, таксер же, наглый человек, отказался их ждать без задатка для второго, следующего рейса обратно, а задаток получив, тут же фыркнул и уехал, едва они хлопнули дверью; и потом, разыскивая новое такси, перевозя рейс за рейсом все новые вещи, вплоть до самого вечера, потому что вещей оказалось неожиданно много; и даже последний раз, на этой тихой лестнице ее окончательно решенного дома, куда ее, кажется, все-таки взяли, хотя и ругнули за комнату дурой, которых — комнат — теперь, как известно, нехватка, стоя в темной парадной, по которой все спали, в полной возможности наконец совершить и наконец не совершив ничего, только обнимаясь судорожно друг с другом, шепчась о чем-то, вроде того, что не зря этот случай, что теперь они связаны, это связывает, как ничто остальное, случай связывает, который непременно не даром, ругань связывает, крик и угрозы, и особенно связывает это

перевезение; и влипая друг в друга, обнимаясь руками, и коленями обнимаясь, цепляясь за плечо подбородком, расходясь и с маху сбегаясь обратно, пока наконец не расстались, всего до завтра расстались, на одну только ночь — и тогда не мог он понять, что случилось.

С удивлением думал он до самого дома, где ждала, волнуясь, жена его Алла, которой он забыл что придумать на ее на вопросы, но, как бывает в подобных случаях, произошло невозможное — она ни о чем не спросила его, или что-то спросила, что он даже не помнит, легко приняв в объяснение любые слова. А потому, видно, их приняла, что хотела принять, а может, чего-то она испугалась — тоже ведь женщина, человек не железный, но в это не будем углубляться сейчас.

Когда же назавтра он не нашел на работе той, вчерашней своей, перевезенной, и забеспокоился; когда он узнал, как она, не придя на работу, долго возила целый день все обратно, и ей хорошо помогали две тетки; когда он больше ни разу не видел ее с этих пор, а встречая его, воротила назад — вот тогда он, кажется, кое-что понял.

Он понял, как лишь одним своим появлением у нее на пути вызвал ее на такие поступки, о которых не смела она и подумать. И в этом увидел он прежнюю силу, которую было почитал уже прошлой, а она, оказывается, живет в нем всегда, живет посейчас, невидимая, загнанная внутрь, как когда-то в детстве загонялось другое. И по запаху, что ли, по какому чутью (вылезает, может быть, это в глаза?) узнается в нем она, узнается с полслова, даже с полвзгляда она узнается, теми узнается, у кого еще может вызвать ответное дрожание внутри. А также очень хорошо ее видят те люди, которые в давние годы прошли сквозь нее и, возможно, бежали ее, предали, устрашились всерьез, потому что это настоящая вера, а такой сильной веры легко устрашиться, не видя в себе на нее столько сил и натуры, как надо. Потому-то это визжание, это приплясывание, этот вой среди теток — который, конечно же, относился к нему, хотя и направленный голосом к ней. Эти тетки, опалившие груди когда-то на том же огне, счастливо бежавшие его, чтоб отращивать ляжки и зады по квартирам, чтоб из дома командовать на солдат-

ский патруль, чтоб хранить других, кого удастся, от чего им самим удалось убежать, — они учуяли его меж собой, как собаки чуждого волка, хотя и похожего видом на них. Если такой восторг, такая злоба и такое гонение, такой ископаемый визг на него, как на подлинную веру, — значит, это вера и есть, а он к ней приставлен, чтоб ее разносить. Он разделил их, как делит реку волнорез, на две стороны отбросил от себя, стоя в них, и бились они вокруг него друг о друга — обе тетки и она, и побившись, не смешивались, а опять расходились, вновь начинали, потому что он тут, потому что присутствие его их делило, прошлое делило от того, что еще и могло бы служить, а прошлое, ясно, уже не сумеет, но и оно всколыхнулось его появлением и волнуется, бьется собой о других: "и глухо волнуется все меховое, как будто живое, как будто живое", — вот как пишут поэты, а поэты умны.

Но если при нем они бились, завихряясь, одни о другую, то стоило вынуть его из течения, как не стало двух сил, которым следует биться, как не может биться река о себя, ибо сделалась по-прежнему без него одна река, которой нечего возмущаться внутри себя, не имея посторонних причин, и поэтому наступает затишье и мир, перевозятся вещи с участием теток, и военный полковник никогда не стрельнет из того пистолета, которого нет.

10. ПОТЕРЯ ГРУСТНОГО ОБЛИКА

Так он опять очутился со своей старой верой, имея в ней новую мощь, уже прошедшую через отказ и неверие, уже утроенную пониманием себя самого.

Это враз изменило его грустный облик. Даже ноги стали по-другому ходить. Если последние годы он ходил как придется, шел на редкость несобранной, свободной походкой, поминутно весь разваливаясь в разные стороны, а на следующем шаге, не собравшись от прежнего, ухитрялся разваливаться еще сильнее, то теперь и шаг у него стал другой, о чем судить можно было по его следам на земле: он теперь четко

шагал по прямой, оставляя столько фасону внутри своего следа — и колечки, и рубчики, и прямые, и вкось, и какие-то букочки, вдетые в цифры. След откладывался сзади, словно черное кружево, да и оставался позади, тяготея пяткой к пятке, а носки заметно разводя друг от друга.

Многие, конечно, по следу ничего не замечали, думали, пересекая удивительный след, будто просто купил он такие ботинки, которые сами оставляют фасон, которые сами устроены, чтобы навсегда ходили так: пятки вместе, а носки тем не менее энергически врозь. Но и они, не удивившись этим следам, которые показывали в первую голову, как начал ставить он себя на земле, — и они увидели это в другом: как он выглядеть стал, как насвистывал, пел, ударял в разговоре, как он сильно ставил во фразе слова, как смотрел уверенно через их неуверенность — в общем, вел себя с ними человеком идей.

Как только вновь появилась в нем вера в свое особое назначение среди прочих людей, стал он жить по-другому, и все препятствия, бывшие к тому, чтобы жить по-другому, стали для него моментально нулем. Как известно, главным из них была жена его Алла, жена, глядевшая в оба, имеющая сильные уши, чтоб слышать, и что-то еще кроме глаз и ушей, то есть тайное женское чутье, которое много бы могло сделать в мире, кабы не было чувствительным к одному только собственному мужу. Его положение было таким: имея полную свободу проповедовать все, что он хочет, он заснул добровольно среди этой свободы и, заснувши, дал себя сбить со своей главной линии, и так бы, сбитым, мог навсегда и прожить, но потом вдруг проснулся, будто вынырнул вдруг из себя самого, при этом вынырнул совсем в иное место, оказавшись уже не в свободе, как прежде, уже ограниченным ухом и глазом. А главное, эта несвобода находилась у него в голове, в виде крепости, которую никто не осаждает, а лишь осадите, она и падет, но ее осадить может лишь убеждение, что осада действительно очень нужна. Эта крепость пока костенела в мозгу, оттого что не было у него убеждения, у жены же у Аллы убеждение было, которое надстраивало крепость и всемерно ее укрепляло вокруг.

И когда эта крепость неожиданно пала, все пошло удивительно у него на разнос. Он кинулся в прежнее с неслыханной силой, с невиданной скоростью заводил он знакомства, проводил и выигрывал сотни боев, уже не имея, как когда-то, обиды, что все время ему предлагали бои, — а, ну что ж, если бой, получайте разгром; и получали немедленно разгром от него, какого, видимо, от него и желали.

Только одно наложилось на прежнюю линию: необходимость увертываться ловко от уха и глаза. Но и в этом нашлась уже не слабость, а сила, уже оказалось, что это не стыд и не тайный обман над слабейшим, над чьим-то доверием, которое он бы не смог обмануть, а мощная, трубная, постоянная победа над чужой ему силой, выражавшей над ним себя с полной властью.

Посылали, к примеру, его в магазин, посылали, скажем, для покупки батона. А он за эту короткую посылку уже и успевал то, что надо, прихватив, разумеется, несколько времени от батона; батон же при этом брал, возможно, не в очередь. В баню отпускали его одного (хоть и редко) — он и от бани мог немного урвать, успевая, однако, вымыть все, что задумано, что потом подвергалось проверке на скрип. А потому успевал, что имел в голове постоянную карту, помнил точно, кто и когда где бывает и когда возвращается в дом, а еще потому, что дома выбирал себе рядом: рядом с булочной есть у него некий дом; рядом с баней имеется; с парикмахерской тоже; возле места работы — не один и не два. Так что: в баню? — пожалуйста; ну, слегка задержался, скажем, товарища — мог бы он встретить? Мог заняться с ним слегка разговором? Да, мог. И хоть это не похвально, но вполне объяснимо; а внутри уже трубы, внутри торжество.

И казалось бы, всякое могло с ним случиться, то есть, возможно, срывалось бы от разных причин. Но и тут он, если хотело сорваться, находил в себе силы да и удерживал это от срыва, всем, чем удерживать только он мог. Мог он словами — хорошо мог словами, мог и другими убеждениями, которых немало. Очень сильно он в этом уже наторел, но вернее сказать, и не наторел, а другое: просто виделась главная впереди ему цель, цель светила, как ясное солнце

вверху, и никаких сомнений в ясности не мог допустить, уже отторгнутый от нее аж на многие годы, уже изведавший на себе ложь иного, ложь отнимания его от этой цели, которой призван он честно и достойно служить.

И если, допустим, говорила одна, живущая в доме как раз возле булочной, будто решила, что с нее уже хватит, после последнего раза решила, что так и останется тот раз последним, то не спрашивал он, почему такое глупое решение, не пытался уговорить, а лишь сейчас предлагал: ну хорошо, ну пускай ты решила и пускай решение твое неизменно, но давай предположим — будто этот, сегодняшней раз (тот, что будет), был еще до решения, ибо я о решении этом не знал и вот ведь вырвался же к тебе (возле булочной) — а потом решение мы поставим на место. И слегка подумав, она брала свое решение в обе руки и относила его, как барьерчик, назад, после же ухода его — воздвигала опять; и в этом, отодвинутом месте, ненадолго он помещался, на сколько нужно, чтобы он развернул себя для них для обоих, имея задание все же спешить. Надо сказать, однако, что больше он не пробовал повлиять на решение, считая, должно быть, что с нее уже хватит, что тут послужил хорошо и довольно. Приходилось, естественно, находить новый дом, расположенный так же удачно, у хлеба. Дом как-то, в общем, находился легко.

И в любых других положениях — в поезде, скажем, отдыхая на даче, находясь безотлучно при жене своей Алле, ухитрялся он делать свое главное дело. Даже отпущенный к вечеру в озеро, искупаться в сумерках при ее наблюдении, умел он, отойдя ненадолго полоскать свои плавки, заметить в полной темноте нечто светлое, в чем немедленно различал он стоявшую женщину. И тут же, сказавши вполголоса несколько слов, узнав, что зовут ее странно — Валеркой (Валерия, что ли? — ну да же, Валерка), умел он сейчас же ее обнимать, на что она тоже обнимала его, и стремительно следовало все остальное, вплоть до самого полного, прекрасного конца, с усиленным вглядыванием после друг в друга, с ощупыванием, ошариванием пальцами по лицу и по телу — какой ты? а ты какая? ты красивый? а ты? и я красивая тоже — тогда как и светлое уже не белелось, настолько полная

стояла всюду тьма, и темные, многие, проходили люди в полуметре от них, и где-то вблизи властным голосом Аллы приглашали его для расправы над ним. И условившись наскоро с нею о встрече, завтра не мог он на встречу попасть, так как не был отпущен уже ни на шаг, а больше не мог ее найти никогда, не имея понятия о лице и о прочем, только на ощупь цыганские серьги, только большая на ощупь, под пальцами грудь, однако пальцами нельзя ее искать среди женщин, да и может свободно получиться ошибка; и она никогда не узнает его, ибо ласкались, не видя друг друга, в полной темноте окружающей жизни.

Но и это не огорчало, потому что его получили сполна, а в себе дальнейшем был он прочно уверен: вот отпустят его на минуту, он пойдет, куда захочет, и ноги сами приведут его к женщине, с которой будет немедленно все, что захочет, — потому что такое его назначение.

11. ВСЕ, ЧТО НЕ МОЖЕТ СБИТЬ С ТОЛКУ

Веру же в него, в это назначение, ничто не могло уже в нем изменить. Не могла даже встреча с одним очень старым и печальным человеком, который узнал в нем союзника и, узнав, начал жаловаться страшными, жалкими словами неверия, наступившего в старости.

— Меня назначено было узнать всей Европе, — говорил старик и слегка выпрямлял грудную клетку и плечи. — И я старался, но я не могу! Я всю жизнь старался, мне без малого семьдесят, больше я не смогу — и всего лишь полгорода!

Не могли изменить его истинной веры даже сильные нападки людей на него, которые догадывались об одной только сотой, но и сотая эта их уже возмущала, как ни странно — таких же мужчин, что и он, а особенно это возмущало женатых, как неверность собственной жене его Алле, которая втайне тоже им представлялась в виде сладкой малины, то есть эта неверность, но которой они не умели устроить — из-за слабости духа и веры в себя.

— Если женился, надо так и держать, — говорили они и старались держать.

— Надо взять себя в руки, — говорили они и, пыхтя, огорчаясь, все же, кажется, брали.

При этом, как водится, не бывало без сплетни.

Конечно, рассказывали про нашего человека, много рассказывали, говорили с захлебом — вот, мол, парень, подумайте только! востер; и с сомнением говорили, не зная, что лучше, можно ли это, не зная, вообще; честные говорили, осуждая за ложь, а если в согласии между двумя, то и пусть — то есть с одобрения жены его Аллы, в каковом, разумеется, сомневались, что есть; в ухарском между мужчин разговоре часто рассказывали как отличный пример, а то и присваивали на себя его случай — правда, может, чтоб ярче и сильней был рассказ, который от длинных расстояний тускнеет; или хвастаясь честно, что лично знаком, чем кидая, однако, немалый и отсвет — в сторону себя, в свою мужскую сторону, которая несколько нуждалась в дополнительном освещении; одним даже простеньким рассказом без обычного осуждения поднимали себя в своих несильных глазах; напротив, хвастали своим осуждением, не имея в себе его, сколько хотелось, сколько, по их представлениям, от них ожидали, тогда как, возможно, и не ждали от них; осуждали его, опасаясь примера, за своих, за домашних, опасаясь людей: неровён даже час, что уже не пример, что реально сделает именно он, сделает это с одной из них, одной из домашних при нечаянной встрече — с дочерью или, не дай Бог, с женой (они слабы, наши жены, как мы сами слабы), может, также с сестрой, хотя с сестрой все же лучше, наши сестры касаемы меньше до нас, может, ей даже нравится, дело ее, связи наши с сестрой стали нынче бледнее; опасаясь также дружбы с ним или силы рассказов для своих, для собственных, для домашних мужей, которым сами потрафляют не слишком, которые могут узнать вдруг такое, чего им в домах не являлось никак — при этом часто не являлось нарочно, тогда как могло бы явиться и им, но для поддержания тихих представлений о доме, с моралью на уровне радиопьес, являлось их женами втайне не тут, то есть не с ними, тихими, являлось,

а с теми, кто может, с такими же, собственно, как и наш человек, — а мужей полагается от того охранять; со злобой рассказывалось тем, кто не делал успехов, то есть со злобой бедного к тому, кто богат, хотя бы богатство приобрел себе сам, и любой ему может последовать в том, но, однако, не хочет, страшится богатства, опасаясь при этом утратить что-то прежнее, что заставит утеривать это богатство; с яростью рассказывалось многими, во всей душевной узости нежелания видеть иных, чем он сам, кто не лепит себя, как с иконы, с него, кто, вернее, не лепит с одного пьедестала; пуще ярости, полные хорошего гнева были рассказы людей другой веры, искренней веры в то, что надо не так — и слава этим людям, пусть живут в своей жизни, как себе представляют, пусть утверждают свою иную веру, только не нашлось бы других, недобросовестных, многих, которые могут использовать это, как им надо сейчас.

Доходили разговоры до людей официальных, людей, приставленных все охранять — все, что скажут им свыше, от чего, тоже скажут. Но люди официальные, до которых это доходило на заводе, были при этом — как будто не доходило, так как не было сигнала от его от жены.

— Не было сигнала? — говорили. — Ну и все.

— Конечно, неплохо им бы тоже заняться, чтобы еще один мужик остепенился, но не надо, — говорило это официальное по-простому, хотя и не думая внутри себя честно, будто нужно действительно мужику степениться.

А будучи само в известном месте мужик, то и вовсе не стремилось к степенности для себя, напротив, втихую разворачивалось, если только удастся. Но только втихую, то есть с полной гарантией никому не узнать, например, по заданию находясь в другом городе, в отдаленной области, подчиняемой другому начальству, меж своих, официальных, кому огласить было б тоже нельзя, и то непременно один на один, официальный на официальную, расходясь в одиночку; или, напротив, среди самых других, кого называли "простой человек", кто и не вздумает оглашать в недогадке, к тому же лучше не ведали б, с кем это было, даже по имени лучше не знать, имя при этом не грех заменить, откликаясь времен-

но на Илью или Ваню; наконец же, имея закладку за ворот, чтобы в крайности можно свалить на нее, на эту старую, русскую, прозрачную причину, которая считается почему-то причиной, хоть никто не насиловал заглотать ее внутрь, тем не менее можно кивнуть на нее и немного да сбавится, и немного поймется, даже этим, официальным, дозволяют кивнуть, потому, вероятно, что и они народ русский.

Так что только отсутствие тревожных сигналов временно мешало разговорам стать сплетней. Подумать только, какие силы могли бы обрушиться на него, что охраняло от них такого мощного человека! — только то случайное обстоятельство, что жена его Алла не пришла сказать языком пару слов в некой комнате, где бы их услышали, — наконец услышали! хотя и слышали часто, да все не от Аллы, а только от Аллы могли услышать, как фольклорная дверь в золотую пещеру, отворявшая себя на одно только слово, впрочем, нет, сравнение это неверно, нету в старом фольклоре сравнений тому, беден он, бедный, ему такое не снилось — так как не только известное слово, но и слово, сказанное лишь одним человеком, только оно могло быть услышанным и могло сдвинуть глыбу, хотя не однажды глыба слово слыхала, слово перебрасывала меж себя, обсуждала, уже приготавливаясь им двинуть себя, однако все-таки никогда не сдвигала.

Правда, сигнал мог прийти не оттуда, он мог прийти и с другой стороны, то есть, в общем, сторона была та же, женская все же была сторона, хотя и не требовалось, чтоб при этом — жена. И опять же, подумайте, — надо только подумать! — какую силу могла бы на него вдруг обрушить, и кто? —какая-то прочая, частная женщина, двумя своими, к примеру, словами!

Но не шла в эту комнату его жена со словами, может, не шла, потому что не знала, то есть не знала еще про него, очень умело до сих он скрывал, хотя и совсем не из страха перед ней или глыбой; не шла и другая, частная женщина, чтобы обрушить на него свой сигнал. А потому не шла, хотя и знала про запас этот путь, эту защиту для себя понимала, что ни одна из тех частных не нуждалась в защите, договорно это было, для нее в большей степени, как считал (все же)

он. И если которая этого с ним не желала, то и он не желал, отступая назад. А если которая все желала продолжить, желала пока его себе не прекращать — то и он не прекращал себя ей, хотя бы и решил, что пора уже, хватит. А которая желала бы закрепить его вечно, то навечно крепить его было нельзя, о чем не скрывал он с самых первых же слов, потому хотя бы, что не вечно ничто, а самое долгое закрепление с ним уже состоялось, о чем он тоже никогда не скрывал, хотя это портило часто ему. К тому же, всем про него было ясно, что нельзя прикрепить его к себе, невозможно — как нельзя пожелать себе клуб или баню, как театра нельзя захотеть, чтоб владеть ими лично, чтоб смотреть одному на огромный экран, чтоб никто больше в мире не пускался глядеть; как нельзя пожелать себе трактор на грядку, на личную, одиночную, на грядку под окном, или, скажем для пущего смысла, — комбайн.

И хоть нападки его не страшили, не страшили сигналы, что могли все же быть, но однажды вышел один редкий случай.

12. ВРЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Было это зимой, позвонили ему прямо в цех, разыскали по фамилии: голос мужской.

— Надо бы нам потолковать, — сказал в телефон этот голос. — Дело есть.

— Кто вы сами-то? — спросил он, не зная, что за дело возможно до него у мужчин.

— А я потом назовусь, приходи в проходную. Правда, есть дело, я тебя обожду. Ты когда кончаешь?

Он кончал уже скоро, так тому и сказал, голос был неприветливый, долго и подробно они объясняли, как друг друга найти, то есть шапки какие сидят на башке и какие надеты снаружи пальто, потому что без шапок, без наружных пальто никогда бы не отыскивал человек человека.

И все же, зная достоверно про шапки, он не заметил того человека, потому что люди валили валом, он сам валом меж-

ду ними валил, время было конечное и еще сверх того, когда уже все устремляются, главная масса, которая моет поверхностью руки, слегка снимает рабочий халат, замыкает его, делая это уже по звонку, тогда как раньше, точно в самый звонок, в проходную давился один шалопаи, что и руки помоем загодя до звонка, и халатик повесит, и мелькает у будки, чтобы, выхватив пропуск, мчаться бешено вниз; посреди шалопаи найтись еще можно. Но человек этот сам вдруг возник перед ним, и он увидел, что даже в пустой проходной, без людей, он не смог бы его отделить и узнать. Потому что как ни описывай с голоса цвет, а шапка шапке, разумеется, рознь, и пальто друг другу та же самая рознь, он искал бы их по своим представлениям о возможных знакомых, на своем на шапочном уровне, что ли, искал, имея шапку новую и красивого вида, у того же были они, как ему и сказались, но при этом были удивительно старые.

— Здравствуй, — сказал ему этот человек, возникая. — Ну вот, познакомились. Я Николай.

— Очень приятно, — сказал он в ответ, — Николай.

— Пойдем налево, походим, а то народу тьма, — предложил Николай.

— Пойдем, походим.

— А я Ленки Новиковой муж, — сразу же сказал Николай, улыбаясь лицом. — Помнишь Новикову, Ленку?

— Нет, не помню, — отвечал он, так как верно: не помнил. Николай заметно огорчился.

— Да вспомни, Ленка же такая, толстая такая, Новикова, в прошлом году вы гульнули? Ну, может, Лялькой ты ее называл, она, стерва, любит, когда Лялькой зовут, хотя какая же Лялька? — Лялька это кто?

— Не знаю, — сказал он. — Наверное, Ольга.

— Ну да, какая же Лялька? А любит. Ну, вспоминаешь, что ли?

— Да, помню, — проговорил он. — Теперь действительно помню.

— Вот. А я ее муж, — сказал Николай весело.

Он оглядел Николая, ничего не сказав, так как что ему было сказать? Просто ждал.

— Чего же ты молчишь? Я ведь муж ее, верно, — повторил Николай, словно еще веселей повторил, словно не веря в себя, что он муж.

— Ну и что? — сказал он без интереса. — Ну и муж.

— Как ну и что? А чего вы гульнули? При живом при муже гульнули, от меня? Объясни.

— Это дело ее, у нее и спроси. Мало ли с кем она гуляла еще. Так у каждого пойдешь выяснять?

— Не, больше ни с кем! — сказал Николай, оглядывая его с настоящим удовольствием. — Только с тобой гульнула, ты смотри какой видный из себя, она с другим бы не стала, а и то потом каялась. Она у меня не гуляющая, ты бы не подвернулся, так и все, и осталась бы в прежнем законе.

— Да ведь не было мужа, я что-то не помню? — сказал он, про все хорошо вспоминая.

— Нет, был. Как же так, или она не говорила? Срок мне дали, по-глупому, а вообще-то я был.

— Может, и говорила. Я не помню.

— Как не помнишь? Про мужа не помнишь? — Николай удивился и забеспокоился. — Ну и гад же ты! Бабу помнишь, а мужа забыл!

— Нет, я не забыл, просто я не интересовался мужем. Муж — это дело ее, я считаю, — объяснил он спокойно. — То есть мне ведь не муж у нее интересен. Если сама на меня согласилась, значит, так захотела, а при чем же тут муж?

— Как при чем? Да при бабе! Муж — он ведь живой, вот он я и есть, из тела. Ты бы представил, может, ты не представлял?

— Да нет, я представляю, только что представлять? Пусть она представляет, она свои дела знает лучше, что я в них буду соваться?

— Ага, — сказал Николай.

— Ты ведь сам посуди, по себе, может, знаешь, — разве мы спрашиваем у них про мужей? — Он стал быстро с убеждением говорить Николаю, как другу. — Ну, вспомни. Мы до этого касательства не имеем. Мало ли что у нее было раньше, до нас.

— Ага, — сказал Николай. — Раньше?

— Некоторые, правда, не понимают. Расспрашивают про старое, кто был первый, да как, да почему, как дошло до меня. По-разному, правда, бывает, расспрашивают. Я еще понимаю, если ты собрался жениться и теперь выясняешь, кто ей был знаком. Но и то — и то это, по-моему, нетактично.

— Ага, — сказал Николай. — Значит, нетактично?

— Конечно, нетактично. А особенно, если совсем настроены для другого. Если не жить дальше вместе, а только друг другу сейчас послужить. Ей самой это нужно, привлекательно в тебе на сегодня, даже больше для нее, а не для себя, в основном для нее, постарайся и сделай, так нет, не могут, начинают расспрашивать, поучать еще начинают иные: да как же ты можешь? при муже, при живом? — а какое нам дело? Это стыдно расспрашивать. Вот, к примеру, пословица...

— Ага, пословица? — сказал Николай и ударил его, моментальным движением сунул назад, куда попадя, попадя тем не менее точно в поддых. Он очень удивился, скрючился ненадолго, но тут же расправился и дал Николаю по морде. Был он сильнее, кормленее Николая, но в нем не было главного, что потребно для драки, — злости не было в нем на него, на Николая, было только огромное одно удивление, а на удивлении драки не взять. Страх не было тоже, от какого от страха можно повод увидеть для злости и злость распалить, потому что у страха глаза велики.

Все же недолго они помахались, тыча кулак в неприятельский нос, однако носы не задели ничуть, а раз не задели, на том и устали, приняли руки назад, на себя.

Эта мгновенная драка сразу сильно их сблизила, им бы надо для дружбы сейчас закурить — по законам великой литературы мужчин, каковая есть литература в избытке, а мужчин тем не менее истинных нет, которые закуривают так, как положено, и когда им положено, в нужный момент — но они не закурили для дружбы никак: он, не куря, не имея привычки, хотя это портило ему как мужчине; Николай неизвестно почему, но однако, возможно, давно не читая замечательных книг.

Драка состоялась на обычном уличном тротуаре, на достаточно людном в это время пути. И как часто бывает, прошла

очень тихо, без свистков милицейских, без повязок дружин. Он уже замечал, что обычное людное место для подобных вещей приспособлено лучше пустых. В пустом всегда окажется кто-то, кто приставлен к нему проходить и следить, потому как пустое и опасное место. А в людном, шумном, где полно пешеходов, никто не следит за безопасностью их одного от другого, хотя при этом кое-что и следят: чтобы их, наблюдают, не переехало скопом, чтоб, напротив, трамваям не мешали ходить, чтобы штрафы платили, не давили витрин — да и то витрины иногда все же можно.

— Ладно, извиняюсь, — сказал Николай. У него была славная детская привычка время от времени лизнуть между губ быстрым остреньким языком и опять тут же спрятать его за губу. — Ты теперь мне свой человек, я не буду.

И тут он тоже почувствовал вдруг, что и верно, сделался Николай ему свой. Еще недавно не было такого человека на свете, позвонил, объяснился, вынырнул в старом пальто, говорил как-то странно, лизал между губ, набивался на драку, но не кончил ее и увял посредине, потому что, касаясь до него кулаком, тут же сблизился с ним, тут же сделался свой.

— А где познакомились? — спросил спустя Николай, слегка замерев от интереса и боязни, что не скажет.

— Познакомились?.. где же познакомились? Нет, я не помню, — медленно проговорил он, глядя внутрь себя обратными глазами, силясь увидеть отпечатанным тот момент в голове.

— А ты бы вспомнил, — сказал Николай и глотнул. Они вступили уже на самую грань откровенности и остановились в нерешительности у нее на краю.

— Я попробую, но, честно, ты знаешь, не помню. Помню только...

— А? — сказал Николай быстро.

— Да, я кое-что помню, — сказал он отдельно и мгновенно охватил Николая глазами, подавшегося, в странной улыбке под носом, куда недавно, нацелясь, он бил кулаком, подавшегося в некотором ученическом забегании, желании забежать в такие области отношений людей, в какие обычно себя не

пускают. Охватив Николая, он понял, что можно. Рассказать отчего-то он очень хотел.

— Ну и чего? Говори откуда помнишь, — повторил Николай, чтоб ему облегчить, словно подталкивая его в разговор.

— Да, — сказал он. — Не помню, где, но помню, что мы по-хорошему сразу же с ней уговорились и пошли искать такси.

— Сразу? — с трудом сказал Николай. — И это... такси?

— Нет, конечно, не сразу. Сперва... ты прости меня? (Николай усиленно закивал.) Сперва, как всегда, целовались немного, обнимались хорошо где-то в сквере, она сразу очень помягчала от этого, от целования; вот тогда и решили поехать. А такси нигде нет, на стоянке люди, время было вечером, все, наверное, ехали по кино и театрам, а я спешу, сколько я могу? Час, не больше, за мной следят в оба глаза, ты знаешь; прошли мы вперед по улице, останавливали все зеленые, она, смотрю, тоже всюю останавливает, увлеклась, что ли, этим, выбегает перед самые такси, остановит, что-то там поговорит, а такси покачают головой и уедут. То ли в парк, то ли смена: у них всегда в самое нужное время заправка и смена, это они, видно, мстят пассажиру — почему целый день не берет их, и ночью, что им, ясно, обидно. Я тоже бегаю, по другой стороне. И вдруг я поймал, а куда надо ехать, не знаю, он посмотрел на меня с удивлением, но я вынимаю и дал ему сразу — он тогда успокоился. И вот уже поймал я, жду, кричу ей, зову руками, она подошла, обрадовалась, а сама не садится.

— Не садится? А чего? — спросил Николай с восхищением.

— Стоит, улыбается, сама качает головой и не садится, почему — непонятно. Тогда я обнял ее и как дотронулся до груди... ты прости меня (Николай усиленно, жадно опять закивал, разрешая), тут она вздрогнула и сразу же села. — Скажи ему, куда надо ехать, велю. И она сказала. Едем. Вдруг, недолго проехали, как она меня спрашивает: — А ты где живешь? — Я сказал. Помолчали. — Нет, говорит, ты поедешь домой, а я провожу тебя и уеду к себе. — И таксеру называет мой адрес. Таксер повернул и поехал ко мне. Я удивился, стал ее уговаривать. Велю таксеру вернуться, а таксер,

хотя и принял тогда от меня, но меня не слушает, слушает ее. Тогда я кинулся снова ее обнимать, и она неожиданно опять согласилась и сама велела ему повернуть. Тот удивился, но опять повернул. Стали подъезжать, она опять говорит: — Нет, нет, ты должен быть дома, поезжайте к нему. — Я говорю: Нет, только к ней, не слушайте ее! — Как же, — говорит. — У тебя сейчас междугородний разговор, тебе домой должны позвонить из Москвы. — Придумала, конечно, для таксера, а я не могу ничего возразить. Таксер остановился, положил на руль голову и говорит: — Я подожду, договоритесь сперва, я же не знаю, кого из вас слушать, по правилу мне надо слушать от дамы. — И не едет. Я снова обнял, хорошо ее обнял и поцеловал на виду у таксера, до самых до зубов поцеловал ее, помню, и тогда она сразу помягчала и сказала окончательно ладно, уже для таксера. Так мы приехали тогда к ней домой.

— На Полтавскую, да? — спросил опять Николай, словно забегая всем собою вперед.

— Может, не надо? — устыдился вдруг он, моментально подумав: что же это он делает? верно, так не положено?

Но весь уже захваченный, весь протолкнутый Николаем в глубину откровенности, в тьму ее тьмущую, от которой всегда был один только вред, он пустился рассказывать, как вошли они в комнату, как она что-то спешно сняла со стены, чему не хотела дать висеть перед ним, а он не стал дознаваться в своей деликатности; как они набросились, как они прямо ринулись с ходу целовать один другому во рту, прислоняться все ближе, втискиваться кинулись всем собою в другого, словно это когда-нибудь было возможно, и все при этом отчего-то стояли, все стояли, не садясь и не делая покамест другого — почему же стояли? Под самой под лампой, никому не подумалось тогда, почему, до того это было согласно, вдвоем.

— Да разве она целоваться умеет? — вдруг сказал Николай, удивляясь, с обидой. — Она же этого никогда не могла. Мы гуляли еще, говорит: научусь, да тогда не успела, а когда поженились, я учить перестал — ни к чему это ей, я и так обойдусь.

— Как же ни к чему? — спросил он, не понимая.

— А так — для кого же? Научу, станет других целовать. Нет, я не стал ее учить, лучше пусть не умеет, — сказал Николай.

— Да ведь вот, вроде может, — вспомнил он с удивлением и опять, повернувшись, оглядел Николая.

— Зря, выходит, не учил, — сказал опять Николай с сожалением, обдумав все дело. — И сам бы с ней нацеловался.

— Да, — сказал он. — Да-да.

И снова, втянутый дальше самим Николаем, он вспомнил, как неожиданно резко она оттолкнулась и с восклицанием: нет! — стала бегать вдоль комнаты, натываясь каждый заход на него, но это наталкивание об него никак ей не вздрагивалось, перестало начисто отзываться, как ноль, будто он уже был в ней самой, у нее внутри, в руке ее был он, и когда она себя приобнимала за грудь — это он ее в ней обнимал вместе с ней; а когда она хлопала себя по бокам — это он ее хлопал по хорошим бокам, это он беспрестанно вращал языком, целовал ей во рту ее губы друг дружкой, это он изнутри ее двигал ногами, делал шаг, ограниченный узостью юбки, он шуршал ей коленом, скользя о другое, и никакой он снаружи не мог быть сильнее, чем действительный он, уже забравшийся внутрь — и откуда мы только забираемся в них? через рот, прикасаясь, дуя духом своим? или мигом запрыгиваем сквозь расширенный глаз? И с этим с ним, уже запущенным вовнутрь, она усиленно боролась, пробегая по комнате туда и сюда, он же под лампой был тут ни при чем, и только тому, в себе, она кричала, отказываясь: нет, ни за что! — а его, наружного, между тем спокойно на бегу задевала.

Тогда он взял ее среди бега руками и сквозь отталкивание, сквозь несильные крики отказа приостановил ее в комнате, прочно обнял вкруговую и соединился с тем внутренним, что забрался откуда-то прежде него. И перед ними, соединенными, взявшими дружно ее изнутри и снаружи, сквозь нее протянувшими руки друг другу, — она не смогла удержать себя дольше. И она окончательно перед ними дозволилась, даже смиренно сама забежала вперед и только все говорила

про себя что-то смутное, что-то непонятное выговаривала вслух:

— Котик! — говорила.

— Нет, нет!.. — говорила.

— Да, — говорила. — Да, Котик, да!

— Мой. Мой. Мой! — говорила; что в другие времена было глупо и стыдно, но она выражала необычный тот факт, что считала его на сегодня своим, а известно, что женщине так приятнее думать — нет, при этом как будто его узнавала, будто утверждала в столь близком соседстве, будто себя убеждала, что именно он.

— Это меня, — неожиданно сказал Николай, плюнув так много и так далеко, словно слюна фонтаном пошла через рот.

— Как? — спросил он, до крайности пораженный. — Тебя?

— Да, — сказал Николай. — Это точно, меня. Так она меня при этом звала — Николай, то есть Котик, но только при этом. Всегда звала, а теперь перестала.

Он стал на месте, с удивлением глядя Николаю в глаза.

— Хорошая баба? — спросил Николай, в момент пролизнув языком и опять тут же пряча его за губой.

— Да как сказать? — не сразу откликнулся он, все еще пораженный, и слегка затруднился, стараясь быть точным. — Я ведь столько их знал... Если честно, то я не могу так сказать. Но, конечно, все-таки неплохая. Да, — повторил он. — Неплохая, но странная.

— Хорошая баба! — упрямо сказал Николай. — Только стерва. А и ты тоже гад, вредный ты человек.

— Да чем же вредный? — удивился он снова. — Что я вредного сделал?

— А зачем обнимал? Она бы пробегалась да и дальше не стала, — сказал Николай с убеждением.

— Нет, ей было уже никуда не уйти. Если б я не помог, ей бы самой стало хуже. Как только мы в комнату вместе зашли — это было сразу окончательно все.

— А зачем тогда ехал? Ведь она не хотела, — сказал Николай, набирая все больше из себя убеждения.

— Не хотела, не села бы, — ответил он просто.

— И не села бы, сам ведь ее обнимал. Ясно, ей тебя было не выдержать, она тогда и села.

— Да ведь этого только от меня и ждала, то есть чтоб я обнимал и слегка уговаривал.

— А зачем познакомился? Зачем ты ей себя показал? Вон ты какой, видный из себя, кормленный, вредный ты для женщины человек, — сказал Николай, напирая на него словами.

— Да ведь и другие есть такие же, еще получше, чем я, — возразил он с улыбкой, как будто дитяти.

— И те тоже вредные, все вы вредные, а особенно ты, — сказал Николай серьезно, кинув на него ярким взглядом, как фарой. — Надо тебя уничтожить для пользы, да я не могу.

— Брось ты, — сказал он, смеясь в полный голос, радостно смеясь, в каком-то сильном удивлении на себя, в тайной дрожи. — Да какой же я вредный? От меня только польза!

— Да, надо бы тебя уничтожить, только я не могу, — повторил Николай, сунув руки в карман.

И снова он засмеялся, как бы довольный собой, как бы довольный словами Николая к нему.

— Да, — сказал Николай очень твердо и быстро. — Я тебя уж порежу немного, ты меня извини.

Тут мгновенно он понял, почему он смеялся. Тут возникла улица, окружив их собой. На улице шли пешеходы, как и в тот раз, при драке, и как в тот раз, никто не подумал бы страшное, потому что ведь тут не какой-то пустырь. В то же время прохожих в соседстве не шло, как бывает, — они удалились вперед, они шли, нагоняя, но еще далеко, основная масса двигалась по той стороне; как и бывает это в очень людных местах, вокруг него с Николаем была небольшая, временная пустота, и в этой пустоте можно было временно, без помех, сделать все, что хотел, на что в кармане оказывался подвернувшийся нож. А после нахлынут и заполнят пространство, сделают шумное и нестрашное место, только времени может оказаться довольно, главное вовремя сделать решающий взмах, вроде мячика в опыте с жидким азотом: киньте мячик, голубенький, с силой об пол; кинули? что? —

только весело прыгнул; опустите его ненадолго в азот, в страшные минусы его опустите, после оттайте немного и бросьте: снова подпрыгнет, голубенький, только пониже; но если кинуть немедленно, достав из сосуда, — то и всё, то расколется сразу на хрупкие части, из которых уже не составить опять, — то есть все получается в точное время, то есть время работает вместе с ножом, вместе с морозом, работает время, а точнее, момент; и значит, так же, как нож, надо его отвернуть от себя, надо всеми руками, всем собой надо вытолкнуть себя из момента.

И эта улица, в которой ртутные только что зажгли фонари, и они разгорались с натугой, не сразу, проходя на вылетах, высоко, все цвета, от лилового, тусклого, до своего основного, зеленыщего, яркого, мертвого, все в разных стадиях своего разгорания; и мотоцикл инспектора, стоящий без хозяина, у которого тем не менее замедляли почтительно личный бег, — такси же при этом пролетали легко; магазин готового платья напротив с темно-серым угрожающим названием "Максим"; недалекий парадничек, что они миновали, где сейчас тепло, несмотря на погоду, куда забралась три юнца к батарее и слушают, слушают свой карманный транзистор, а он исправно выдает, что им надо, потому как умеют извлечь из него, из каждой детали его извлекают и все присвистывают сами, все притопывают на его эти звуки, иногда выговаривают непонятное слово, иногда посмеются, приобнимут друг друга, наклоняясь к тому, у которого музыка, — и весело им, и не холодно, и свободно; и блестящие, словно смазные, трамвайные рельсы, и старухи с корявыми ногами под собой, через рельсы, без правил идущие, где захотят; и газета возле него с заголовком: "Человек обществу — общество человеку", которое очень могло оказаться вокруг, чтоб сумел человек ему слегка покричать, а чтобы общество ему, человеку, заслонило карман с наведенным ножом; и некий гражданин лет за тридцать, в модной шапке и лысый, то есть в лысине, явно выходящей за шапку, бегущий напротив за некрасивой девушкой, но молоденькой, а губы его были сложены так понимающе и так иронически, что по ним читалось: "Да, я знаю, что лысый. Ну и что? А и

ты, погляди-ка, сама хороша” — все эти картины появились на улице вдруг, чтобы стать, возможно, последними, что увидят глаза.

Очень ясно поняв, что он может теперь же, тотчас помереть, он мгновенно припомнил, что на прошлой неделе, как всегда, вырвав время от своей чистоты, то есть время от бани, позвонил он в один, хорошо ему известный рядом дом, где недавно бывал он, неделю назад, и как ему открыли, он вспомнил, и сказали приветливо, ласково сказали, что она умерла, без притворного горя — потому что соседи, потому что и он неизвестно ей кто. Как же страшно сделалось ему от того, что случилось за эту неделю, на которой оставил он ее жить одну, чтобы дать себя прочим, а после вернуться, потому что для каждой тянул ее нить, вдоль по пикам тянул, то есть когда они виделись — это и пик, а провалов между как будто и нет, с расстояния было бы их не видеть, им потом представлялось это все непрерывным, словно жили они непрерывно вдвоем, а с другими тянул по соседним, по сдвинутым пикам, и опять же помнил для каждой единую нить, и жили совместные эти внутри него рядом, и не смешивались, не переплетались, вились по одной, но вдруг провал у одной обнажился, она в отсутствие его оборвалась, то есть в отсутствие, которого, собственно, не было, так как, признав его, надо разбить непрерывность других.

После этого долго он очень боялся, что позвонит кому-нибудь, а ему снова скажут, ласково скажут, что и та умерла. Стало как бы всеместно для него вдруг возможным, тем самым коснулось и его самого. Прежде не было смерти в столь близком соседстве; конечно, и раньше уходили они от него, уходили из дела его, отпадали, часто прежде, чем этого он захотел, то есть как бы и это была тоже смерть, как та, у озера, например, в темноте, та, которой не мог разглядеть, как ни пялил глаза, потому что и белое уже не белелось, только было на ощупь все, что было на ощупь, только мягкое все, что умеет быть мягким, только женское там, где его ожидал, — и вдруг, навсегда, безвозвратно потерянная в тот же момент, и не найденная даже, а всего лишь угаданная — это ли не смерть? но и это не смерть, так как просто ушла

от него, оставаясь жить рядом, куда, к сожалению, ему не попасть, но "куда" это все-таки есть, существует, и она существует на этом "куда", как существуют и все остальные, которые уходили из него, оставаясь жить рядом, просто откладывались, отпадали, слетали, просто отваливались от него, как пласты.

Но эта, у бани, умерла навсегда, умерла безвозвратно, и уже ее нет ни в какой дальней жизни. Если бы умер близкий, кровный ему человек или друг, то тогда в нем болело бы все духовное, он страдал бы простым, преходящим страданием человека; тут же случилось особое, которое ничем не перебить, на которое невозможно ответить никакой болью духа — только было в руках его нечто твердое, округлое, вполне осязаемое, дававшее ясный ответ на любое движение, и вдруг растворилось у него из-под рук, моментально исчезло, превратившись в ничто, а вернее, обратившись во что-то отвратительное, обратное тому, что было, так как было живо, тепло и прекрасно; как бы распалось у него под руками, и руки не улавливают, не улавливают под собой ничего, все расползается, как старая подкладка.

"Неужели и я? Неужели умру?" — пронеслось моментально у него с изумлением.

Он не представлял в своей вере для себя личной смерти, так как знал очень твердо: ему нельзя умереть. Единственное, чего нельзя для него и для дела, к которому он приставлен, — это нельзя ему сделать с собой настоящую смерть. Конечно, любому человеку обидно, если вдруг появляется перед ним его смерть, если он понимает, что пришло его все, жизнь сглотнет его и пойдет себе дальше — добрая, улыбающаяся, с веселыми людьми и хорошей погодой. Но находят оправдание ей в своем деле, продолжателей жизни за собой оставляют, которые (вероят) их дела доведут, хотя бы дела и замолкли на время. Он же, в деле, которое считал своим главным, не сумел бы утешить себя никогда, ибо дело то было сплошным продолжением, только повторением себя оно жило, перестав повторяться, умирало само. А единственное, чего он не мог допустить, — было полное прекращение его упорного дела, полная гибель с ним самим его веры. Было бы это

приятно врагам, ибо что можно худшего сделать врагу? Пережить его в жизни — его самого да и все его дело. Последнее было бы всего огорчительней ему на том свете, которого нет.

Все это мигом у него пронеслось.

“Ну уж нет! Не бывать”, — сказал он твердо себе, повернувшись лицом к Николаю.

И тут между ними разыгралась моментальная сцена, как в кадре кино.

— Уж ты извини, — приговаривал в запале Николай. — Я тебя порежу немного, уж ты извини. Не до смерти порежу, извиняюсь. А то не могу!

И он порезал его неожиданно острым ножом, дважды воткнув его в бок, под ребро. Он при этом схватил нож руками за острое, не пуская в себя, полосуюя кожу на пальцах и внутри, на ладонях, потом локтём оттолкнул Николая далеко от себя.

Николай все совался к нему со своим острым ножиком, приговаривал с убеждением, быстро и громко:

— Нет! Не надо, не бойся. Я тебя не до смерти. Я знаю, куда, чтоб совсем не до смерти! Пусти! — кричал он в отчаянии, убежденный, что делает верно, и все совал ему ножик, просил пустить его в бок.

Но он не пустил Николая в себя, яростно боролся, защищая бока, проявляя стремление жить на свете еще и не веря ему, что порежет его не до смерти, что порежет лишь ради справедливой острастки.

Он мощно ткнул Николая высоко носком ботинка, тот согнулся, закричал, закружился и сгинул, словно и не было его никогда.

13. УСТРЕМЛЕННАЯ ФИГУРА

Любому другому, лишенному цельности, этот случай сделал бы полное крушение жизни, хотя и не из тех неглубоких, боковых его дыр, что устроил ножиком ему Николай — как и было обещано им, бессмертных.

Главным несчастьем могло для другого явиться полное разоблачение от жены его Аллы, потому что никак не объяснить ей, во-первых, что за тайная жизнь у него от нее, в которой надо зайти на такую далекую улицу, где и нет никуда ему причин по пути; во-вторых, никак не объяснить ей ножа, кем был направлен на его скромный бок, почему за этим не стоял, как обычно, простой, приятный в этом случае ей человек — хороший грабитель со съемом часов. Многого ей не объяснить никогда, и чем больше бы этот человек объяснял, тем сомнительней все становилось для Аллы.

Но оттого ли, что нашему был результат все равно, от чего ли другого, только не было в тот раз между них результата. Алла сильно расстроилась и, конечно, всплакнула, но при этом в ней открылась неожиданная новая достоинность, которой не было случая прежде выйти на свет. Даже навещая ежедневно больницу, она не спросила у него тех вопросов, какие он представлял, что могла бы спросить

По всему надо думать, что впервые за фигурой мужчины, которая ей представлялась, против которой она повседневно боролась, но которая только и нравилась ей, то есть мужчины большого, невнимательного, занятого, небрежного, не одетого в лоск, даже одетого плохо, даже, если не вспомнить, оденется грязно, если не вложишь утром новый платок, то отправится на день, надолго, со старым, если не сделаешь завтрак, уйдет натошак, если денег не дашь, то уходит без денег — но при этом, конечно, не будет страдать; мужчины сутулого, волочащего ноги, но при этом в сутулости, в волочении, в небрежении к платью и в небритости щек — во всем этом особый, свой смысл, то есть если сутулится, все же росту хватает, чтобы всех превышать, когда идет рядом с ней, и в небритости, скажем, чтоб ему это шло, а в небрежности, дырах на модных ботинках, шарфе, повязанном широко, кое-как, шапке лохматой, местами потертой, пальто, распахнутом из отсутствия пуговиц, во всем чтоб особая была красота, еще больше подчеркнутая ею самой, если им проходить, скажем, где-нибудь вместе, всей ее аккуратностью, всей ее малостью, всем ее лоском, причесочкой, мелким красивым лицом, всей умытостью, свежестью, блеском сапожек, ярким,

красным чулком, пальтецом до колен; за этой фигурой, хватающей, не заботясь, что больно, идущей шагами, которые невозможно догнать, вечно стремящейся уплыть от нее, обмануть, совершить нечто тайное, чего нельзя допустить, — в этой фигуре впервые узрела она устремленность, которая лишь и оправдывает эту небрежность, а не просто отсутствие в нем чистоты и порядка, и ту особую выделяет на нем красоту, которая делает эту небрежность законом, волчьим блеском отсвечивает в каждом глазу, всегда устремленном за ближний предмет, потому что знает на земле свою цель, потому что стремится, даже зло, к этой цели, уворачиваясь от всего, что мешает; а мешают кругом.

И когда говорила она о мужчинах, то есть с виду какой кому нравится (через вид, понятно, выражается сущность), особенно в праздник с подругами говоря за столом, например, соединяясь на время в международный женский коллектив, и когда по-простому они восклицали — “Ах, люблю я усики! За усики все могу отдать”, когда говорили — “А я люблю, чтобы звали Володей. Если не Володя, то я не знакомлюсь, потому что Володи все черные, а я люблю только черных”, когда признавались — “А я люблю мужчину в очках. В очках он научный человек, они солидность придают, но конечно, не щуплым, щуплых они унижают совсем”, на что другие, напротив, возражали, что нет — “Не люблю я очков. Помню, один, в очках, пригласил на комедию да еще взял бинокль. Я очень стеснялась”; дальше же шли уже общие разговоры об очках, почему их так много и что это значит, должно быть, в том виноват телевизор, в который теперь все втыкаются с детства, ослабляя глаза, отдавая ему свое зрение, чтобы смотреть на все уже его глазами, как вдруг опять говорила, возвращаясь, иная — “Мне нравится, чтобы в вечерней школе учился”, когда же спрашивали у нее, почему, для чего ей такое неудобство в мужчине, всем международным коллективом спрашивали, чтобы она пояснила, то, не поясняя, все повторяла — “Да так, нипочему. Просто нравится”, тогда последнее было чем-то Алле понятно, так как вновь вызывало представление о такой же фигуре — не красивой, не черной, не в солидных очках, а фигуре неясной,

устремленной куда-то, на что-то непонятное, чему все усиленно, дружно мешают, что и делать приходится в нерабочее время, а время нерабочее отнимается жизнью, она сама первая у него отнимает, хотя зачастую отнимает с трудом, однако же если бы отдавал без труда, то самой бы ей сделалось совершенно не надо.

Возможно, всего и не поняла она в этом удивительном случае, однако что-то забрезжило тогда в ней, и она не спросила у него тех вопросов.

После, однако, спросила сполна.

14. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Вслед за этим прошли — в общем, тихо — два года.

Жизнь его состояла из вчера, сегодня и завтра.

Можно сказать, что любая жизнь состоит из вчера, сегодня и завтра. Это вчера непрерывно растет, непрерывно обрастает сегодняями, которые настолько налились и созрели, что уже превращаются в бессмертные вчера. Сегодня наращивает грузное тело вчера, и оно крепко держится у нас на закорках. И завтра, которого собственно нет, которое наступает только в виде сегодня, потому что сегодня неуклонно, как танк, каждый день наступает собою на завтра, поедает, глотает, превращает в себя — ни для кого не заманчивое, пренебрегаемое всеми сегодня, которому следует поскорей стать вчера, чтобы вызвать вечное по себе сожаление.

Но бывают жизни, которые особенно состоят из этих трех четких дней. Так проходила и его непрерывная жизнь, в тесной дружбе лишь с тремя этими днями. Так и несла она их за собой, будто лодка, зацепившая у берега немного листвы — возле себя, впереди и побольше всего за кормой. Так и проходила она в непрерывном поедании ими друг друга, переходе и рождении одного из другого, в возникновении откуда-то, из полного ничто, нового, небольшого пополнения завтра, которое недолго постоит впереди да и снова пожрется ненасытным сегодня, чтобы тотчас же стать превосходным вчера.

И показалось, что вечно будет выплывать откуда-то это малое завтра, этот остров, поднятый со дна как раз в тот момент, когда он стал нужен, чтобы положить на него короткий, сияющий пролет моста сегодня, уже потемневшего позади, превратившись в длинное вчера, где все застыло, где уже можно гулять воспоминаниями, трогать руками все то, что там есть, что остановилось на ходу, затвердело и не может быть сдвинуто. По морю как посуху идет этот мост, опираясь на завтра, что ему подставляют, и нельзя подумать, будто однажды этот мост из сегодня не найдет под собою обычной опоры и тогда остановится разом в своем продолжении, образуя мгновенно конечное все.

Не раз оказывался он возле этой возможности.

15. НА ДАЧЕ

Как-то на даче он встал прежде Аллы и вышел на улицу. Видимо, было еще очень рано.

— Сколько времени? — спросил он у одного, который встретился ему на дороге.

— Не знаю, — ответил тот с полным равнодушием к времени.

На бетонных столбах вдоль железной дороги висели на стержнях тяжелые грузы, распирали над поездом провод, где ток. Насквозь пустая электричка покатила в своем направлении мимо него. Только в одном окне показывал себя в полный рост человек в костюме и при галстуке, делая для окрестностей — вплоть до конечной своей остановки — поясной портрет пассажира, не знающего устали в самую рань.

“Сколько же времени?” — подумал он, но спросить было негде. Еще один лежал на раскладушке, на солнышке, вовсе пляжный, без брюк и без майки — откуда у него будет время? Времени было еще нисколько.

Справа, в роще, между деревьев, от березы к березе сложена тонкая стенка поленницы. Маленькая девочка вышла из дощатой уборной в леске, аккуратно закрыв за собой на защелку. Мелкие камушки, выкинув вдоль по дороге длин-

ные, засстренные тени, казались просыпанными гвоздями; он шел по гвоздям.

Вдруг он поднял глаза от дороги и уткнулся ими во встречную девушку.

Существо молодое, с загадкой внутри, любопытное, несколько, видимо, грубоватое, сильно причесанное снаружи, подкрашенное там, где сама захотела, часто в полном несовпадении с естественной линией, данной ей от природы в наследство от женщин, породивших ее, словно желая привить эти линии в новых местах, проложить им новые пути для всех последующих женщин, что она породит. Нарядная, очень одетая, шла она в такую рань по дороге.

— Какая прелесть! — воскликнул он искренно. — Ты что так рано нарядилась?

— А откуда я знаю, кого я встречу? — ответила девушка с непонятным весельем. — Может, я в шесть утра уже такого повстречаю, что сразу надо быть нарядной. Как тогда?

— Да кого же ты встретишь? — сказал он с улыбкой.

— А так. Мало ли кого можно встретить на свете. Хоть вас.

— Когда же ты успела? Или ты не спала?

— Нет, спала. Я очень спать люблю. А я все с вечера. Причешусь, умою лицо, руки, зубы; губы намажу — и сплю.

— Ну, а как же ночью? На боку повернешься, и прическа насмарку.

— Нет, не насмарку. Я сплю тихонько, как лягу, так и встану — тем же боком.

Они уже стояли и дальше не шли.

— Что это вы тут делаете? — спросила она с любопытством и посмотрела взглядом на него, как позвала.

— А ничего, — ответил он. — Гуляю.

— И я гуляю, — сказала она, словно без всякого особого смысла.

— Ну, так будем гулять дальше вместе, — сказал он просто, хорошо умея различать этот смысл.

И дальше, действительно, гулять стали вместе.

Это ли не удивительно, что малое знание вступительных слов, небольшая смелость сказать языком — и уже возможно делать что-то совместное, делать людям, которых до этого

не было в мире, то есть не было нигде одного для другого, и уже начинается то огромное слово, вновь начинается слово гулять, быстро выпуская из себя все значения, уводя по дороге, направленной к лесу, у входа в который нарисован плакат: "Каждая искра опасна".

Это ли не удивительно, что два совсем незнакомых человека уже не только готовы обнимать друг дружку тело (рано или поздно, не важно, когда, но готовы), смешивать слюну в затяжных поцелуях, но еще и больше — они говорят! Им есть о чем разговаривать — а не всем это есть, даже старым знакомым, — им, у которых ничего нету общего, ничего не читали они одинакового, ничего не смотрели на широких экранах, не жили вовсе в одинаковой жизни, то есть, возможно, читали и жили, но не об этом они сейчас говорят, не это их занимает по дороге к серьезному лесу. Они сейчас словно люди из разных времен и народов, сведенные вместе на острове в море. Им нет ничего, ни в прошлом, ни в окружении, что бы можно привлечь для живого общенья, никаких нету символов, одинаково понимаемых ими двумя, может, нет даже общего у них языка, так как то, что говорят они сейчас, не значит того, что они говорят, а значит другое, что они тем не менее хорошо понимают.

— Я люблю черешню, она сладкая, а вишню не люблю — почему кислая? — говорит она, и это означает отношение к миру.

— Интересно где больше солнца позади или спереди я пойду тогда спереди — как мне всегда везет я однажды сорок одну копейку нашла с кошельком — вчера выходили с работы я идти не могу у Надьки губы покрашены а я свои съела я говорю поцелуй меня Надька и она меня целовала пока не покрасились губы а потом уже пошли — я понимаю что бывает аристократический нос но какой аристократический мой или ваш я не знаю — а меня тут с носом оставили подавали с Надькой в институт от производства мы одинаковые с ней на хорошем счету ее послали на дневное с путевкой а мне идти на вечерний почему неизвестно — муж у ней лейтенант они жили хорошо а деньги он клал на свою на сберкнижку потом как-то взял и перевел отцу она так плакала так

плакала и теперь еще не забыла вспомнит и заплачет но живут хорошо — а я поссорилась недавно по моей инициативе не могу дружить долго я такая дура прицепилась к нему все придираюсь и придираюсь он закурит а я почему ты закурил он остановится а я почему ты остановился и чего придираюсь сама не пойму — я удивляюсь что она так сказала сейчас не говорят такие слова я и не слушаю потому что их просто сказать хотя теперь их никто не говорит и они ничего не значат как раньше поэтому их не говорят никогда.

Говоря это нечто, подвигалась она вместе с ним по тропе, по тропе травяной, не пробитой до голой, до главной земли. Травяная тропа опускалась в овраг, травяная тропа из него выходила, и овраг оставался у них за спиной, словно первая линия небольших укреплений. Вместе с тропой поглощали они вслед за этим оврагом подъем и обход, и косую горку они проходили, а за горкой был длинный некошенный луг. Это все, поглощаясь, вело их на лес, надвигало их на него, на зеленого, темного, где опасна каждая искра для всех.

Вот деревня, как будто бы жителей в ней вовсе нет, домики старые, но на каждом антенна. Вот ранняя хозяйка, кормилица кур. Куры ходят кругами вокруг нее, вокруг хозяйки, боком заглядывают ей на лицо.

Вот какие-то бурые, ржавые елки, а за ними болотина, и в болотине плавают черная шина, потерявшая где-то свое колесо. Старуха идет через поле с огромным мешком за спиной, на котором вышиты красным слова: ЧЕЛОБАНОВ ВОВА. Вот скачут коровы вдоль по грязной дороге и скрываются мигом за каким-то бугром.

И эта деревня, хозяйка и куры, эти коровьины скачки, болотина, шина на ней и старухин мешок — это все остается позади, словно жизнь, словно декорации первой картины, в два приема выдергивая из земли дальний лес, лишь всего на два пальца увеличив его в высоту.

В том же, что перед ним говорила она, в голосе, в тоне, меж слов разговора, сообщалось упорно, будто в лес они ничуть не идут, а идут, напротив, в полевое, открытое, людное место.

И когда они дошли до самого леса, когда они вошли в него, в густой и безлюдный лес, которого отродясь (кто — отродясь?) не увидишь, когда он повернул ее к себе, стал обнимать за все, что ему захотелось, когда, гуляя руками, дошел он до неких округлых запретов, она вдруг спокойно скинула с себя его пальцы и сказала насмешливо:

— Не трогай чужие вещи без спросу.

И потом она что-то с обидой сказала ему в дополнение, что-то такое, где опять же слова не важны:

— Ты думал, что я пойду с вами в лес, но я не пойду с вами в лес. Хотя мы уже в лесу, но это не значит, что мы в лесу. Это вы пришли со мной в лес, потому что я просто сюда сама гуляла, а не вы привели меня в лес. Ты думаешь, что ты меня привел, но это еще ничего не значит. Вот мы с вами в лесу, а попробуйте только, ничего такого не будет, потому что если бы не в лесу, тогда другое дело, а так ничего быть не может, потому что вы как раз специально подумали, что вот какая, идет со мной в лес, а в лесу с ней что хочешь можно сделать, я вас знаю. А я в лес пошла, да ничего не позволю, как раз тут, в лесу не позволю. А не в лесу, конечно, не позволила бы и совсем, но особенно, ясно, в лесу. Вот так, мой милый, не надейся напрасно.

И она встряхнула всем корпусом, вмиг поставив на место все линии, несколько сбитые его наступлением. Она про себя хорошо понимала, что с ней может конечного сделать мужчина, и ничуть от того не смущалась внутри, но снаружи она возмущение выражала, щурила глаза, поводила натянутым животом — оттого, что считала, будто это так надо.

На ней были золотые крупные волосы, точно елочный дождь. Под ней были ровные, длинные, словно девочкины, ноги на шпильках. На ногах сверх меры открыты колени.

“Конечно, как же тут оставаться ей чистой, — думал он, — если столько глаз ежедневно ищут ее моментального взгляда, столько взглядов кидаются разом в колени — на ходу, на улице, в метро и на прочем транспорте города, а она желает этих взглядов побольше, хотя только взглядов, и все. Улицы полны такими, как она, кто желает казаться, но страшится действительно быть. Казаться, но не быть, проходить,

купаться в вождеющих взглядах, и в самодовольстве уезжать к себе в постель, увозить в себе свою сохранность, пронесенную смело вперед еще день. В этом гораздо больше содержится нечистоты, чем это принято думать”.

— Я тебе нравлюсь? — спросил он ее.

— Ничего... время провести можно, — отвечала она.

— Как-то ты не так говоришь.

— А как? Сейчас только так и надо говорить, — сказала она с убеждением.

— Ну и черт с ним! — сказал он сердито. — Пошли по домам.

16. ОПАСНЫЙ ВАГОН

Но они, конечно, по домам не пошли, потому что этого ей никак не хотелось.

Они медленно направились якобы к дому, на обратной дороге слегка заплутали и вышли на станцию железной дороги. Время уже появилось, пока они ходили по лесам, и успело, видимо, пройти даже больше сегодняшней своей половины.

Электричку, которая дошла до конца, осаждали люди всевозможного вида, уже захотевшие возвратиться домой из полезных лесов.

— Граждане, посадки нет! — говорило радио народу с высоты. — Поезд направляется в парк. Посадки нет.

Но народ не послушался репродуктора и сел в свободную электричку. Девушку тоже потянуло последовать за своим народом, она схватила его крепко за руку — то есть его схватила, а совсем не народ — и потащила к вагону. “Куда? Зачем?” — подумал он несильно, подчиняясь движению, так как тоже тянулся последовать за людьми.

Народ знал, что делал. Электричка отошла двести метров, постояла там десять минут, а потом перевелась на обратные рельсы и спокойно поехала не в парк, а прямо в город. Народ всегда понимает, что делать.

— Будьте благоразумны и осторожны! — еще раз с мольбою сказал репродуктор народу, сказало радио людям, а в том радио диктор, который — и только он один — хотел

слегка обмануть их для их же для пользы, и поезд мгновенно его миновал.

Так, неожиданно, он уехал от дачи.

Народ в вагоне составил мгновенную пульку. Народ заиграл на бренчащей гитаре. И он же, народ, взяв гитары другие, повернул вниз струной у себя на коленях, застучал им по спинам костями домино.

Этот вагон звал к поступку.

Слепой с транзистором, повешенным на грудь, который не слышно от ближнего пения, и только хозяин ловил его звук — наклонялся вполуха, а после вставал от него к разговору с соседом. Даже слепые, говоря меж собой, обращают всегда свои лица друг к другу.

— Опасаясь шального поступка, — пели люди вокруг говоривших слепых, сами возвращаясь оттуда, где шальной был все время возможен поступок, куда и ездили они за шальным (но не слишком), хотя и того удалось миновать. Начинается эта песня на соседней скамейке, где сидят молодые ребята, возможно, что даже несвободные школьники.

— Опасаясь шального поступка! — поет, не разжимая зубов, мягкое, носатое лицо молодого, временного недоросля, еще не осевшее у себя на костях. Рука, что играет щипком на гитаре, обмотана туго ремешком на запястье. Вот серая школьная форменка, надетая вольно, расстегнуто, на одну еще куртку. Вот с нерусским, западным лицом у себя на лице — это тоже ненадолго, это форма протеста. У другого с шиком надета старая, синяя шляпенка без полей. Поля у шляпенки отрезаны напрочь, до ленточки с бантом, спереди выстрижен полукругом козырек.

С этой несложной, гитарною песней носится в вагонном воздухе их мужская, юная духовность, которая вышла ненадолго у них изнутри, чтобы после замкнуться там снова, навсегда в неосознанке от себя самого. Эти новые, нарастающие, молодые мужчины, которые также не будут ничьими, то есть не будут ничьими надолго, но и своими они никогда быть не смогут, будут только обязанными — семье, войне или службе, семейно-служебно-военнообязанными, им уже

заготовлен сержант или мастер, их уже дожидается быстрая дорога, что бежит сама собой под ногами вперед.

**Сегодня я с большой охотою
Распоряжусь своей субботою, —**

поют они независимо, не свои и ничьи. Как невыносимо это слышать окружающей женщине!

Этот вагон зовет немедленно к поступку, но совсем не к тому, что желала бы девушка, сидящая напротив, существо молодое, жестокое, с загадкой внутри и с прической снаружи.

17. ПРЕКРАСНЫЙ СЛЕПОЙ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ДЕРЕВОМ

Приехав в город, они пошли гулять в парк.

На углу двух дорожек стояла скамья.

Бедные эти песчаные дорожки в городском дальнем парке, когда-то посыпанные слабым желтоватым песком, сквозь который уже пробиваются черные макушки земли, сведены были встык возле старого сиреневого дерева. Это было конечно же дерево, даже не куст. Многие тонкие стволы его расходились вверх и в разные стороны, не имея задания направляться всем разом, в одну-единственную точку русского неба. Однако среди этих стволиков, серых, сухих, намечался один главный ствол, старый как старость, с заметной корой. Он долго и тихо нарастал на себя, он растил свое тело из тех небольших, ежегодных остатков здоровья, что не уходили целиком на изобильное цветение, на сильный запах, и вот в кусту стало дерево, куст возымел в себе стержень и направился отныне вслед за этим стволом.

На скамье против дерева сидит слепец, держит на коленях очень толстую книгу, ведя по ней чутким пальцем, уставя будто бы зрячие глаза прямо в небо — сидит на лавочке посреди красоты, будто что-нибудь в ней понимает, в далекой; сидит, читая про себя литературу и радуясь ей до широкой улыбки.

Перед ним, перед слепым, цветет и пахнет собою сирень. Сирень увешана сиренью от земли до макушек, и вся эта пышность выходит из куста далеко наружу, из строгих, темно-зеленых, несочных листьев его, как орган, состоящий из множества трубок, от малых до огромных, восходящих медленно к центру, к вершине — стволу. И столько разного цвета в ее сиреновом цвете, если глазом вглядеться в любую мясистую кисть. Каждый крестик цветка несет одну свою краску: бледную розовость, мягкий сиреневый, фиолетовый цвет, с глубиной, с желтизной, также с сизым отливом, разный от лепестков к середине, уходящей в себя, в темноту своей дырки, и напротив, — от светлого центра к краям. Нет похожих по краске, одинаковых видом, все повернуты разно, вовнутрь и наружу, на все четыре стороны света; кто дальше, кто меньше, высовывают они себя в мир из кисти, она живая, она объемна, она насквозь сирень в своей сирени, и эти малые крестики разного вида, соединяясь, отблескивая сами на себя, на соседних, поддерживая и выглядывая снизу один за одним, меняясь окраской — постепенно и вдруг, как бы двигаясь в пространстве — делают кисти тот единый, нежный и выпуклый цвет, что мы просто называем сиреневым.

Слепой сидит и не видит цветущего дерева, потому что слепые увидеть не могут. Слепой не видит за деревом ровную землю, не видит он невероятной, первородной зелени вдоль по земле, он не видит синего неба над нами, парного, слоистого облака в нем, всего составленного из разновидностей белых цветов, в какие и верить не веришь, что бывают на свете.

Слепой сильно нюхает воздух, он вдыхает и кожей, и чуткой ноздрей: они, слепые, хорошо могут нюхать. Против слепого оглушительно пахнет сирень. Но и запах ее он не может услышать, потому что запах подымается и плывет через воздух, как вода по реке — подымается, а после опускается через улицу, у соседей, и пахнет там, у соседей, хотя цветет перед ним.

Он не видит дорожки, не видит синего неба, не видит светлых домов, что немного заносятся силуэтом на небо,

не видит города, в котором все не так, как бывает в деревне, не видит деревни, где все не такое, как в городе, не видит разного лица своей страны, которая имеет лицо, обращенное вверх, к пассажирам не очень скоростных самолетов, и вбок обращенное, к поездам и машинам, обращенное вниз — к своим лучшим героям, что (по общему мнению) все лежат по кустам, а живых не бывает героев в народе; обращенное к светлому, трудному прошлому, к лучшему будущему — что наверное будет, к истории обороченное, не видя с историей ясно друг дружки, тем не менее все ж выставляя лицо: ведь даже слепые, говоря меж собой, обращают всегда свои лица друг к другу.

Слепой не видит города и не видит России, не видит истории и не видит себя, он читает пальцами книгу, хорошую книгу, потому что мы заботимся о слепых, отбирая им чтение, и не каждую книгу для них издаем. Но слепой видит все — видит слабые дорожки на затылке земли, видит пышную землю, видит небо и облако, висящее оттуда, видит город, деревню, себя и историю: потому что слепой человек пришел давно сам к себе, слепые люди прекрасны, и это есть у них на лице, это исходит у них от лица, это почти можно видеть, как токи теплого воздуха возле реки, ибо он живет у себя на лице; поглядите: он живет и слушает, как маленький зрячий человек, мальчик-с-пальчик из его головы небольшими шагами спускается в нем по нему, в его сердце, и доходит до самого себя (что умеет не каждый) и потом подымается тихо обратно, принося в полной целости это сердечное в мозг.

18. НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ: ВОЗМОЖНЫ НЕУДОБСТВА

Девушка рассказывала ему, как она любит другого, и на этом основании хотела большей игры от него, большей изворотливости в деле ее убеждения.

— Ну и что, — сказал он рассудительно, — и я люблю не тебя, а я же тебя целую, что же делать? И тебе делать нечего, раз гуляешь со мной, а с ним не гуляешь. Видно, он не зовет?

— Не то чтобы не зовет, а в общем... не зовет.

Ненадолго в ней мелькнуло человеческое, чтобы тут же превратиться в еще бóльшую игру, чтоб все запутать.

— А что? И с вами можно время провести, — сказала она завлекательно, уводя его от вопросов в угол парка, в котором хорошо уже стемнело.

— Ну зачем эта война? — через полчаса спросил он с досадой.

— А я люблю воевать! — сказала она, как умеют это они говорить.

“Ну, так ты получишь войну, если тебе это надо”, — подумал он снисходительно, хотя обычно им не потакал в этом деле.

Положил руку ей на колено, на жесткое капроновое колено, как спинка у жука. Она подержала и скинула. Положил опять — подержала подольше. Это продолжалось недолго, по всем нужным правилам, для нее интересным, пока она вдруг не решила, что можно прижаться к нему, а потом, так же вдруг — что пора оттолкнуть. Оттолкнула — прижалась — опять оттолкнула, отпуская ему себя малою дозой.

А только он не бросил обнимать ее дольше, чем она позволяла, то и пригрозила, чтоб понравиться этим ему еще больше.

— Пустите, — сказала. — А то сейчас закричу.

И вместо того, чтобы пошутить про это с нею тоже, вместо подходящей, обнимающей шутки, он ответил вдруг просто, как отвечать им нельзя:

— Ну и кричи, если хочешь.

— Крикну! — сказала она снова. — Вы не думайте, я не побоюсь.

— Ну и кричи, никого тут нету, — сказал он снова, продолжая обнимать ее руками и держать при себе, понимая, что этого ей и хотелось, а слова вылетали из нее по привычке.

— Помогите! — крикнула она в самом деле, крикнула истошно и громко и сама испугалась.

И сразу же в парке, где нет никого в это вечернее время, оказалось, есть все, кто нужен для подобного крика. За кустом выпивали — и на крик пришли со своею посудой; под

кустом целовались — неохотно оставили на потом это дело; шла из бани старуха с белым тазом и сумкой, в которой нахально, на самом верху, лежала распаренная, мокрая, как хозяйка, мочалка — одна бы эта помывщица подойти не смогла, а тут, при народе, и она осмелела; солдат стоял вдалеке на часах на вышке — солдат, оказалось потом, все видал, солдаты все видят, но солдаты молчат, пока их как следует не расспросит начальство.

Все эти люди — выпивавшие, согласно целовавшие губы во рту друг у друга, несущие мимо парное, мытое тело — все схватили за руки нашего человека, дружно взялись за небольшой его шиворот из пиджака и рубашки, побежали за помощью нужных властей, которые власти очень долго не шли, и простужалась от этого парная старуха, остывали губы, желавшие продолжать распалаться, и черствела закуска под кустом на газете.

Он не вырывался, нашлись отдаленные власти, посадили в машину и с сиреной умчали его под замок.

19. ПОД ЗАМКОМ

Он сидел, стриженный наголо, словно юнец, и думал: что же такое совершил он неверно? Где ошибся, в каком месте? Не принял серьезно угрозы, которой просто хотела она его испытать? Зачем ей понадобилось такое испытание? Для чего?

Нет, понял он, что бы он ни делал, он не мог не ошибиться. Впервые столкнулся он с новой стихией.

Она мучима, бедная, мучима выбором, всем, что входит в понятие выбора нынче. Она находится в непрерывном поиске, при котором решила заранее, что придется ей подвергать себя неприятным минутам.

И слишком слабый, чтоб все изменить, он может только постараться понять.

20. ГОРБОМ К ГОРБУ

Что же это такое — выбор?

Слепой не выбирал своей слепоты, дерево не выбирало земли под собой, сирень не выбирала свой сиреневый цвет, не выбирала, кто прилетит к ней на запах, запах же не выбирал свой поток, не выбирал, куда плыть по воздуху, где опуститься, где остаться и пахнуть, и где бы он ни опустился, он может пахнуть везде, и везде будут рады, любой тонкий нюх.

В людях же проблема выбора стала огромной. Никогда на земле, никогда в бедной родине нашей не было такой невероятной нужды очень тщательной отборки человека для себя, для близкой жизни. Во все времена хорошая, природная женщина, не обделенная ничем, что должно в ней иметься, могла полюбить любого хорошего, природного мужчину, наделенного всем, чем он должен быть наделен в этом качестве, ибо прочее, человеческое, личное, не разнилось сильно у разных людей, оттого и действительно: стерпится — слюбится, оттого их и сватали, невидимых невест за невидимых братьев, что никак не могли подвести своих сватов, не было у них в запасе ничего такого, чем подводят. Она вырастала постепенно, век от века, эта замечательная человеческая личность, чтобы навсегда разделить, разобщить всех людей, чтобы заставить их усиленно искать себе подобных, пару искать среди отчаянно непарных, и чем сильнее, чем острее и определенной становилась эта личность — тем труднее найти, отыскать, приспособить. Равные кубики все приложимы друг к другу, но как найти дополнитель среди шаров, полумесяцев, ромбов и дисков; посреди треугольников, разных углами? чтобы выпуклость одних обнималась при сложении соответственной впадиной? Нет, это трудно найти, и каждый ищет, чтобы сложиться, а зачем ему складываться — это тоже понятно. По природе он должен сложиться, чтобы сделать с женщиной пару, к тому же теперь еще нужней ему это, ибо шар один — не так устойчив, как прежние кубы, а при сложных нынешних временах все нужнее каждому выстроить дом среди жизни, чтобы устоять перед временем, перед

трудностью его, противоречием, перед небывалым расширением всякой пользительной лжи, от великой до малой, от частных до общей.

Тут и выходит на свет, разрастается у каждого по-своему довесок — наша личность, личность гуляет по белому свету, она сидит у нас на плечах, словно горб. Она нужна как спасение, как противодействие, как электронная хитрая машина для разгадок, как средство лавировать через разную ложь, чтобы добираться не до истины даже, а хотя бы до блага — да, это точно: сквозь ложь и до блага, вернее, в сторону блага, того, которого часто тоже трудно достичь.

Горбы же эти, в плюсе или в минусе горбы — все равно, то есть личности мерзкие или даже роскошные, что в итоге не важно, они мешают нам соединяться друг с другом. У слепого, заметьте, исходит с лица доброта, у горбатого — злость на лице и обида; слепые женятся на слепых, слепые любят слепых, любят слепо, на ощупь, но горбатый с горбатым не могут сойтись, потому как слепой — это только слепой, просто незрячий человек, то есть чего-то лишенный на свете, что можно чем-то еще заменить из себя, истончившись, тогда как горбатый имеет позади себя вещь, или впереди себя имеет такую же вещь — острый горб, на котором натянут пиджак, острый горб, на котором натянут жакет, острый горб, при котором нельзя нам сложиться, пока не найдешь подходящую впалость.

Думая так, он заметил, что сильно устал. Он дождался обеда и немного поел. Думать в камере было неудобно и трудно, не хватало предметов на стенах. Лучше всего ему думалось обычно на людях, в трамвае и в улице, потому что думал он не словами, а более тем, что он видел, обнимая предметы, вовлекая в себя и обращая их в мысли. И к женщинам это относилось вполне.

21. ДУХ ПРАВОСУДИЯ

В суде и в следствии пахло подмышкой — то есть в тех помещениях, где проводились эти полезные действия.

Место это, находящееся под рукой, в срастании с боком, хотя и называется слегка непонятно и странно, особенно по нынешней, отдельной орфографии — под какой такой мышкой? давно уже не слышится прежняя мышца — место это, отнюдь не противное (и не обижающее даже девичьей скромности, которая игриво прохаживается часто в него за щекоткой), пахнет тем не менее иногда невозможно. Бой быков — вот что раздается оттуда, не меньше! Потный, отприродный человек так не пахнет. Это запах подмышки лежалой, пиджачной, воспитанной папкой, ежедневно втыкаемой в нее со своим коленкором.

Почему именно этот запах, этой части организма поселился в суде, непонятно. В этом не содержится ничего оскорбительного для самого лучшего в мире суда, а все же, согласитесь, несколько невкусно.

Следователь, допрашивая, презирал нашего человека за малость преступления. Следователь, как и все остальные люди, не был насквозь безупречен, и ему было радостно встречать преступника большого, преступника страшного, перед которым он сам и его небезупречность были в сравнении нуль, ничто, то есть в сравнении с которым был он идеальный, милый человек — и в семье, и на службе, и в уличной жизни.

Он же, наш человек, не мог придать следователю такой хорошей законности, чтобы тот мог спокойно его судить и рядить. Следователь не любил его за это, за то, что хорошо мог представить, как гулял он с девицей по парку, как девица завлекала его чем могла, как при этом он действительно увлекался, — и следователь тоже бы охотно завлекся — как что-то он сказанул или сделал такого, что легко ей могло не понравиться, этой девице, — им, девицам, все время поступки желательно наши делить: которые нравятся, а которые нет, и чтоб нравились все — им как раз ни к чему, этого они не прощают и не любят. А уж если не понравилось, он легко мог представить, как при вздорном характере она закричала, чтоб того попугать — и не больше, — не думая, будет ли на это последствие, будет ли сбегание народа к ним под куст. Размышляя про это, следователь находил для се-

бя тот момент, то неверное слово, где таилась ошибка, с которого сам начинал развивать свои действия в мыслях, заходя так далеко, как нельзя заходить у нас следователю даже и в мыслях. Спohватившись, он возвращался поспешно в обратном порядке, еще более не любя своего подследственного — за то, что тот его вынудил столь далеко заходить в своих мыслях, а более всего за то, что пришлось ему так быстро вернуться, кинуться вспять из областей приятнейших, которые в представлениях были куда податливей, чем в скудной следовательской жизни.

Защитник тоже презирал его: за то, что он успел свершить так мало, тем более, что придется отвечать по всей строгости — так что лучше бы уж, полагал защитник, он свершил бы все, в свое удовольствие, до конца. Защитник презирал и слегка жалел его, но считал, что должен и то и другое скрывать. За это он тоже не любил подзащитного, потому что кто ж это любит скрывать себя от другого — не скрываться же защитник не смел, хотя тот и вовсе этого у него не просил, а то есть был невиновен в неудобстве защитника перед собой.

Оба судебские человека тем самым ненавидели подсудимого, как самих себя, ибо ненавидеть можно лишь то, что есть у нас внутри, что там живет, хотя и подавленно, а чего в нас нет, то невозможно понять, невозможно понять же — нельзя ненавидеть, можно только бояться, вот мы и боимся, принимая свой страх за непримиримость и ненависть. С какой же силой должны судить мы не то, чего просто боимся, а что действительно изнутри ненавидим в себе?

Так что нашему человеку уготован был суд в полной мере, без всякой пощады.

К тому же, среди судебских с давних пор живет неуважение к людям малой виновности, небольших, совершенных кустарно проступков. Участвуя вместе с преступником в одном общем деле, в деле законности, хотя и с разных его сторон, как бы роя туннель под горой с двух концов, чтобы где-то встретиться, пересечься, образовать единое целое, — они начинают любить хорошего, основательного преступника, так же как преступник любит основательного, крепкого судью, который ставит наконец все на место, то

есть находит ему по своим толстым книгам точное место среди человечества, по которому втайне преступник скучает, не желая болтаться в непонятной неприкрепленности к жизни.

В суде не любят случайного нарушителя, его не любят и в следствии, и не любят в поимке. На них, на ненастоящих, на случайных, обычно и обрушивается полный закон — и за дело: не лезь в чужую область, где у тебя не хватает таланта, не обижай людей, которым эта область важнее всего мирового пространства.

22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это слово означает заключение повести, а вовсе не рассказ о заключении нашего героя в трудовой строгий лагерь, которое последовало, разумеется, за судом.

Я не стану подробно рассказывать об этом периоде, так как наше руководство смущается и просит вовсе исключить из языка глагол сидеть. Но и потом еще немало случилось с ним разного — целая жизнь, которая кончилась все же хорошо, не беспокойтесь, то есть кончилась, как и у всех, личной смертью.

Когда-нибудь, надеюсь, я продолжу рассказ.

О том, как выбив глаз ему в темное время, люди сделали его вполовину незрячим, что само по себе ничего: в древности, скажем, чем слепей был талант, тем почетней.

О том, как другие люди, не те, которые выбили, а те самые, женские люди, ради которых он старался всю жизнь, — как они невзлюбили его за этот выбитый глаз, хоть и были незрячие сами, в свои оба глаза.

О том, какая это была несправедливость.

О том, что в этом месте у него появилась фамилия, даже имя и отчество. И фамилия эта оказалась простой. "Ага! — с удовольствием подумали все, кто его знал. — Такой, можно сказать, талант, хотя и в особом смысле, а тоже вот — и фамилия есть у него, и даже имя. Недалеко же он ушел от всех от нас".

Он стоял среди народа и не мог отдать ему свой талант, хотя и был тот талант неизменен, не считая какого-то частного глаза. Между его талантом и людьми, думал он в это время, прочно встало на охранные пути государство. А разве это верно?

Много чего я могу рассказать про него — но не буду. Повесть не кончена, скажете вы; ну и что, пусть не кончена. Посторонним все равно дела мало, а с друзьями как-нибудь я объяснюсь.

Друзья! Вы знаете, это вполне русская книга, а кто же помнит, чтобы русские книги кончались? Спасибо, хоть до этого места дошло, могло бы остановиться и раньше. Нам всегда лишь бы как-нибудь, чего-нибудь, чтоб имело хотя бы вид повести или романа, но главное нам — поразмышлять, понять какую-то малость, сыскать частицу Бога в самом мелком, недостойном предмете, а там и наплевать, и пусть она катится себе псу под хвост, самая распрекрасная в мире сюжетность. И чем лучше ты ее придумал, тем скучней доводить до европейского конца завершения.

Немец обдумает мир и поймет, американец выстроит модель и рассчитает, мы понимаем предмет, только когда начнем про него сочинять по бумаге (кто из русских писал? не без зависти: "англичане, вскормленные мозгами своих предков"). Право, придумайте далее сами: мне уже все совершенно понятно.

**Тогда-то странник наш, с разбитой головою,
С попорченным крылом, с повихнутой ногою...**

содержание:

я, с пощечиной в руках

Рассказ

3

секреты

Цикл рассказов

11

смешнее чем прежде

Цикл рассказов

47

тянитолкай

Повесть

68

человек, который верил
в свое особое назначение

Повесть

95

Издательством

ТРЕТЬЯ ВОЛНА

в 1976 - 1979 гг. опубликованы следующие книги:

ЕВГЕНИЙ КРОПИВНИЦКИЙ

Печально улыбнуться. Стихи

цена 10 франков

АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Ностальгия. Стихи

цена 15 франков

МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ

Место и время (Еврейские заметки)

цена 30 франков

АНАТОЛИЙ ГЛАДИЛИН

Репетиция в пятницу. Повесть и рассказы

цена 30 франков

ГЕНРИХ САПГИР

Сонеты на рубашках. Стихи

цена 20 франков

ИГОРЬ БУРИХИН

Мой дом слово. Стихи

цена 10 франков

ВЛАДИМИР МАРАМЗИН

Смешнее чем прежде. Рассказы и повести

цена 33 франка

"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

Альманах литературы и искусства (иллюстрированный)

№ 1, 1976

цена 15 франков

№ 2, 1977

цена 15 франков

№ 3/4, 1978

цена 30 франков

№ 5, 1979

цена 20 франков

При заказе в издательстве скидка 30%.

Пересылка за счет заказчика.

Заказы направлять по адресу:

Alexandre Gleser, Chateau du Moulin de Senlis, 91230 Montgeron
tél. 942.96.52